

**БОЛГАРСКИЕ ТЕМЫ И МОТИВЫ**  
**В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ**  
**1820—1840-х ГОДОВ**  
**(Этюды и разыскания)\***

В длительной и многообразной истории культурных связей России и Болгарии первая половина XIX в. представляет собою период, особенно сложный для изучения. Материалы, документирующие их в это время, разрознены, частью утрачены; контакты деятелей русской культуры с поселенцами болгарских колоний на юге России нередко вообще не отражались в письменных источниках и навсегда ускользнули от внимания исследователей. Но даже то, что осталось, еще ждет своего фронтального изучения; если болгарская филология располагает рядом первоклассных работ, специально посвященных выдающимся деятелям болгарского Возрождения, то деятельность Венелина, Вельтмана, Липранди, Теплякова лишь изредка привлекает к себе то внимание, которого она заслуживает. Нельзя сказать, чтобы это были забытые имена; мы можем насчитать известное число весьма ценных работ, исследующих их славянские, в частности болгарские, связи; однако здесь лежит еще обширное поле изучения, изобилующее «белыми пятнами». Настоящие заметки отнюдь не претендуют на то, чтобы восполнить все эти пробелы; цель их скорее в том, чтобы обозначить некоторые проблемы, попавшие в поле зрения автора, и предпринять разыскания, более или менее частные, о болгарских мотивах и сюжетах в творчестве того же Вельтмана или Теплякова. В силу этих обстоятельств самое исследование не носит монографического характера; это именно заметки, этюды, разыскания в области русской литературы и ее славянских связей, — заметки, которые, быть может, окажутся бесполезными для дальнейшего обобщающего исследования.

**Липранди и Вельтман**

В истории русско-болгарских культурных связей 1820-е годы составляют особую и весьма важную страницу. Это период постепенного развер-

---

\* Печатается по изданию: Русско-болгарские фольклорные и литературные связи: В 2-х тт. Л.: Наука, 1976. Т.1. С. 231—272.

тивания «восточного кризиса», период борьбы за освобождение греков и славянских народностей Оттоманской империи, — борьбы, которая имела столь существенное значение для внешней и внутренней истории России и Болгарии. Именно в это время «балканская проблема» возникает как первоочередная и для русского правительства, и для деятелей тайных обществ: в правительственных сферах обсуждается вопрос о войне с Турцией; Пестель и «соединенные славяне» вынашивают планы создания славянских федераций<sup>1</sup>. Юг России — Бессарабия, Одесса, охвачен брожением; издавна существовавшие здесь болгарские колонии отнюдь не остаются безучастными к греческим событиям; славянские иммигранты непрерывно пересекают русскую границу; в рядах гетеристов действуют болгарские отряды. Эти события прочно входят в литературное сознание времени.

Среди политиков и литераторов, охваченных живым и жгучим интересом к разворачивающимся событиям, есть, однако, некоторое число людей, силою обстоятельств поставленных в несколько особое положение. Это кишиневский и одесский круг, в котором в 1821—1824 гг. находится и Пушкин: В. Ф. Раевский, В. И. Туманский, И. П. Липранди, А. Ф. Вельтман. Их контакты с участниками движения носят более непосредственный характер, нежели у столичных литераторов; сфера их наблюдений и диапазон устных сведений богаче и разнообразнее. Они знают болгарских гетеристов. Им известны полуполюгендарные исторические личности; со слов очевидцев Пушкин пишет повесть «Кирджали»; Липранди также рассказывает про «Георгия Кирджали, родом нагорного болгара», и упрекает Пушкина за неточности<sup>2</sup>. В общении с Липранди возникает пушкинская запись песни «на предательскую смерть известного и прежде, а во время гетерии храбрейшего Бим-баши Саввы, родом болгарина, подготовившего движение болгар, коим Ипсиланти не умел воспользоваться»<sup>3</sup>. В своем архиве Пушкин сохранил текст одной из валашских песен о смерти Саввы — событии, отразившемся и в болгарском фольклоре<sup>4</sup>.

Все эти контакты, известные нам неполно и во многом случайно и бывшие фактом повседневного быта, закреплялись литературным творчеством, в том числе творчеством Пушкина. Правда, в литературном репертуаре эпохи еще отсутствует и «болгарская» тема как таковая, и литературный образ страны или национального характера, а культурные связи

<sup>1</sup> Сыроечковский Б. Е. Балканская проблема в политических планах декабристов // Сыроечковский Б. Е. Из истории движения декабристов. Изд. Московского гос. ун-та, 1969. С. 216—303; Фадеев А. В. Россия и восточный кризис 20-х годов XIX века. М., 1958. С. 36 и сл.

<sup>2</sup> Липранди И. Из дневника и воспоминаний // Рус. архив. 1866. № 10. Стлб. 1395, 1403—1406. Ср.: Трубецкой Б. Новые архивные материалы о Кирджали // Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 333—337.

<sup>3</sup> Липранди И. Из дневника и воспоминаний. Стлб. 1407—1408.

<sup>4</sup> Двойченко-Маркова Е. М. Пушкин и народное творчество Молдавии и Валахии // Из истории литературных связей XIX века. М., 1962. С. 65—88; Богач Г. Ф. Пушкин и молдавский фольклор. Кишинев, 1963. С. 198—211.

носят односторонний характер. История их в точном смысле слова еще не началась; но о предыстории уже может идти речь.

В этой предыстории деятельность Липранди играла свою, и немало важную, роль. Мы видели уже, что его информированность была очень полезна для Пушкина; позднее она послужит А. Ф. Вельтману, В. Г. Теплякову, Ю. И. Венелину. Она не была случайной; Липранди был своеобразным аккумулятором сведений о Болгарии, как, впрочем, и о других славянских землях Оттоманской империи. Уже в эти годы он связан с военной контрразведкой; в его функции входит «собрание сведений о действиях турков в придунайских княжествах и Болгарии»<sup>1</sup>, и он выполняет задание добросовестно и точно, пользуясь случаем расширить свои знания о быте, этнографии и культуре страны. В начале 1820-х годов он, по его собственным словам, «занимался... сводом повествований разных историков древних и им последовавших вообще о пространстве, занимающем Европейскую Турцию», и имел довольно обширное собрание книг, говоривших о крае «с самой глубокой древности»<sup>2</sup>. Когда накануне русско-турецкой войны он стал во главе «высшей тайной заграничной полиции» и получил в свое распоряжение широкую сеть агентов, он воспользовался случаем обогатить себя информацией, получаемой помимо книг. В 1828—1829 гг. он командует отрядом волонтеров и, передвигаясь по стране, накапливает редкостный запас собственных впечатлений о быте, этнографии, географических особенностях разных областей Болгарии, о фольклоре края, об участниках политических движений, с которыми ему довелось общаться лично или слышать о них от их ближайших сподвижников. Его служебные записки, составленные в конце 1820-х годов, наполнены экскурсами по болгарской истории и археологии; они напоминают отчеты ученого разыскателя<sup>3</sup>. Этих впечатлений ему хватило надолго, — в 1877 г. он вспоминал о них в очерке «Болгария», написанном по материалам его старых «записок» и в иных случаях имеющем значение исторического первоисточника<sup>4</sup>. «Болгария» начинается кратким, но насыщенным очерком истории «некогда славного, но ныне забытого народа болгарского», государства, пределы которого, «простираясь от Черного моря до Мраморного, Егейского и Адриатического, заключали в себе множество городов многолюдных и процветавших в свое время»<sup>5</sup>. В 1877 г. говорить о «забытом» народе уже не приходилось, — но история Болгарии составлялась Липранди почти за пятьдесят лет до этой

<sup>1</sup> Садиков Л. А. И. П. Липранди в Бессарабии 1820-х годов (по новым материалам) // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Вып. 6. М.; Л., 1941. С. 271; ср. также: Эйдельман Н. Я. «Где и что Липранди?» // Пути в неизвестное. Сб. 9. М., 1972. С. 125—158.

<sup>2</sup> Рус. архив. 1866. № 9. Стлб. 1261.

<sup>3</sup> См. частичную публикацию их в кн.: Вължарова Ж. Н. Руските учени и българските старини. Изследване, материали и документи. София, 1960.

<sup>4</sup> Болгария. Из записок И. П. Липранди // Чтения в имп. Об-ве истории и древностей российских. Кн. I. М., 1877. Отд. III.

<sup>5</sup> Болгария. С. 8, 9.

публикации. С 1820-х годов он собирал материалы для своеобразной энциклопедии Оттоманской империи, обширного справочника, где словарные статьи располагались в алфавитном порядке. Об этом своем труде Липранди в 1835 г. писал Вельтману из Тульчина, прося его помощи в литературной обработке: «Что касается до содержания всего сочинения, пришлю вам только для любопытства одну букву, которую велю переписать (здесь и это весьма трудно)... Статьи сии... просто повествовательные, — кое-где рассуждение; и есть многие из них довольно занимательные. Не скажите, что «овсяная каша сама себя хвалит», но я в оных только компилятор и, опровергая ложь, показываю истину». Свое сочинение Липранди предполагал напечатать, — в России или за ее пределами, что, по его словам, ему предлагали еще в 1830 г., когда «оно не было приведено в порядок и не дополнено, как находится ныне»<sup>1</sup>.

С этой работой Липранди, вчерне оконченной в 1830 г., был связан обширный цикл разысканий, касавшихся славянских земель, которые входили в состав Оттоманской империи, — и здесь особое место принадлежало Болгарии. Среди материалов его архива сохранились тетради, заключающие систематическое изложение древней и средневековой истории Болгарии. По-видимому, эта рукопись, перебеленная самим автором, но с обширными более поздними вставками, относится к началу 1830-х годов. В тексте есть ссылки на личные впечатления автора, относящиеся к 1828 г., и упоминания книги Раича, появившейся у Липранди в 1831 г. Это, конечно, не первая редакция; что же касается материалов для нее, то они собирались, как мы знаем, еще в период бессарабского общения с Пушкиным и Вельтманом. Таким образом, уже в конце 1820-х годов Липранди располагал, по-видимому, весьма значительным багажом исторических сведений и предпринимал для их проверки посильные разыскания, делясь результатами с пионерами русской славистики.

История Болгарии, написанная Липранди, конечно, не могла не быть компилятивным трудом, и методы критики источников, которыми он пользовался, несли на себе печать дилетантизма, свойственную вообще ранним, доромантическим этапам русской и западной историографии. В объективном изложении событий Липранди стремился следовать Карамзину и даже упрекал его за некоторую идеализацию Святослава (которой, впрочем, и сам отдал дань); в еще большей мере он адресовал этот упрек летописи Нестора, подвергая ее рационалистической критике за преуменьшение численности русских войск, создававшее ореол сказочного героизма вокруг русской дружины, и т. д. и т. п. Совершенно естественно, однако, что источниковедческие проблемы не возникали для него в сколько-нибудь целостном виде; он писал «прагматическую» историю, опираясь

<sup>1</sup> См. письмо И. П. Липранди к А. Ф. Вельтману от 20 октября 1835 г. (ГБЛ, Вельт. П. 4. 17). Извлечения из своей рукописи Липранди начинал печатать еще в 1830—1831 гг. в «Одесском вестнике»; позднее их опубликовал Вельтман в изданных им «Картинах света» (Ч. II. М., 1837. С. 242—248, 346—352, 361—366).

на самые разнородные материалы и лишь иногда позволяя себе корректировать частности. Круг этих материалов притом был довольно обширен. Уже цитированное нами письмо его к Вельтману от 20 октября 1835 г. содержит весьма колоритный рассказ-воспоминание о предпринятых им поисках книг по славяноведению; рассказ этот доносит до нас пафос его разыскательской деятельности.

«Прежде чем, по желанию вашему, известить вас о себе, — пишет Липранди, — я поговорю с вами о предмете ваших занятий. Во-первых, я рылся, и давно роюсь, в библиотеке Потоцкого, но не встретил в ней ничего вами желаемого; рукописей никаких нет; Иоана Потоцкого, кроме «*Fragments sur la Scythie*», других нет (у меня же есть его «*Histoire du gouvernement de Podolie*», «*Histoire du gouvernement de Cherson*» — и «*Chronologie de Manethon*». Если это вам нужно, черкните, и они явятся к вам); вся моя библиотека, или, лучше сказать, знатная часть оной, имеет то, что мне теперь нужно, в Кишиневе. Посылаю вам «Историю славянских народов» Раича, 4 книги на славяно-сербском языке, я достал их с большим усилием в 1831-м году в Букаресте — заплатил 7 червонцев; когда они вам нужны, располагайте; у меня есть еще несколько альманахов сербских, изданных в Буде, и «Песнопевка» Качича, также на сербском языке, которые я с трудом же добыл; если у вас в Москве нет оных, то напишите, и я принесу вам дар оных, ибо у вас они будут полезнее, как у меня; в первых есть любопытные статейки; а в «Песнопевке» многие песни или большая часть оных воспевают геройские подвиги древних славянских царей тех стран и богатырей их. У меня есть еще «Сербиянка», поэма на нынешнем сербском языке, — четыре книги, сочинения Степана Милутиновича, в 1826 году, — но не думаю, чтоб она была вам полезна, ибо описывается только борьба сербов с оттоманами, от самого восстания сих первых в 1805 году до 1818 года. Книга эта запрещена у нас: и это, если вам нужно, то пришлю, с тем, однако же, чтоб возвратить мне. Из двух писем ваших, кажется, что я догадываюсь о предмете ваших занятий; конечно, вы имеете Сестренцевича о славянах, склавах и сарматах 4 книги; они у меня есть, но, вероятно, и у вас в Москве много: издание петербургское. Может быть, вы не знаете о сочинении на немецком языке, которое вам необходимо; это «*Geschichte des ungrischen Reiches und seiner Nebenländer*» — Энгеля, в Гале, 1805 года, в пяти частях, in 4°. Но не пугайтесь названием *Венгрии*: тут вы найдете историю довольно подробную: обеих Далмаций, Кроации, Сербии, Булгарии, Герцеговины, Боснии, Молдавии, Валахии и Баната, — но опять не пугайтесь, не одна история, — а что вам, кажется, будет полезно, — это описание литературы каждой из сих областей слишком даже подробно: успехи, причины и пр., и пр. Словом, немец не жалел время и имел большой гедульт, — а еще полезнее, что все это писано не на честное слово — а с основанием на источниках. При каждой области приложен список всем повествованиям об оной, даже нашим русским, о которых я никогда и не слыхивал; указываются рукописи латинские и славянские, которых, как вы знаете, большое множество в Вене, Буде и прочих местах Австрии, особенно же и Венеции,

Рагузе и пр. Если вы не найдете книг сих в какой-либо частной библиотеке в Москве, то я готов вам оные прислать месяцев на шесть и даже на год, ибо уступить их не могу: я сам насилу достал из Вены, где всего был один экземпляр»<sup>1</sup>.

Это письмо Липранди интересно во многих отношениях, и прежде всего потому, что оно характеризует его работу как историка. В своей истории Болгарии он воспользовался теми трудами, которые назвал Вельтману, — четырехтомным исследованием Сестренцевича-Богуша «Recherches historiques sur l'origine des Sarmates, des Esclavons et des Slaves etc.» (St-Petersbourg, 1812), работами Раича и Энгеля. Конечно, он ими не ограничился; ему известны византийские хроники Льва Дякона, Кедрина-Скилицы, — по-видимому, не в подлинниках, а в латинских переводах, приведенных в фундаментальном труде Дюфрена, ссылки на которого мы неоднократно встречаем в рукописи его истории. Все эти источники, однако, стоят для него в одном ряду; он пользуется безразлично подлинным свидетельством и изложением Раича или Мавро Орбини. При всем своем энтузиазме и обилии знаний он остается скорее дилетантом-собирателем, нежели исследователем; как ученый он отстает от требований времени. Историческая методология, выработанная романтической историографией, проходит мимо него; в 1835 г. он рекомендует Вельтману труды, к этому времени устаревшие, и не знает даже, что подробно описанная им книга Энгеля уже давно и хорошо известна: в 1829 г. Венелин подробно разбирает ее концепцию в своих «Древних и нынешних болгарях...». Когда в 1852 г. С. Н. Палаузов заново обратится к изучению «века Симеона», он отвергнет все его источники, за исключением только книги Стриттера. Вельтман, правда, не сделает этого, — он даже, как увидим далее, повторит прямую методологическую ошибку своего корреспондента, сославшись на песенный сборник М. Качича-Миошича как на историческое свидетельство.

Вместе с тем работа Липранди имела уже то достоинство, что она была первой систематической историей Болгарии, написанной на русском языке. Липранди начал свои изучения раньше Венелина и раньше и дольше, нежели Венелин, общался с живыми носителями культуры и языка. Даже Шафарик в 1826—1830 гг. мог лишь мечтать о поездке по болгарским землям; Тепляков, занятый римско-греческой древностью, не имел собственно славяноведческих интересов; кратковременное путешествие Венелина в 1830 г. было едва достаточно для беглого и внешнего ознакомления со страной. Липранди был в лучшем положении, и во многом благодаря собственной инициативе. События болгарской истории новейшего времени происходили у него на глазах; он впитывал эти сведения и стремился их зафиксировать. Не отсюда ли шел его углубленный интерес к историческим трудам Яна Потоцкого, также ездившего на места, чтобы увидеть славянские древности собственными глазами; не потому ли он рекомендует Вельтману поэму «Сербиянка» Симы Милутиновича, что автор ее сам об-

<sup>1</sup> ГБЛ. Вельт. II. 4. 17.

щался с описанными им историческими лицами?<sup>1</sup> Об этом Липранди, несомненно, знал; Милутинович жил в Бессарабии; его «Сербиянка» была издана в Лейпциге знакомым Липранди И. С. Ризничем, мужем известной в биографии Пушкина Амалии Ризнич; возможно, что книга была известна и Пушкину<sup>2</sup>. В свою историю, как и в свои официальные записки, Липранди включал собственные свидетельства о состоянии археологических памятников, о быте и топографии Болгарии. Наконец, письменные источники, собранные им, добывались во время путешествий и были чрезвычайно редки; достаточно сослаться на его живой интерес к полузабытому к 1830-м годам Я. Потоцкому, замечательному по своим историческим и литературным трудам и еще ожидавшему своего воскрешения; его рукописи в начале 1830-х годов пытается разыскать и Пушкин<sup>3</sup>.

Материалы, сообщенные Вельтману Липранди, касались славянских земель в целом и лишь в части своей затрагивали болгарскую историю. Будущий автор «Райны» еще не сосредоточил своих интересов на «болгарской» теме; это произойдет несколько позднее. Сейчас его интересует скорее сербский материал; сборником Вука Караджича он пользовался в «Кощее Бессмертном» (1833). Однако уже к началу 1840-х годов болгарская «старина» начинает приковывать его внимание. Он пишет об этом Липранди; по ответам Липранди мы можем представить себе характер вопросов Вельтмана. Он хочет получить детальное описание болгарских народных обрядов, уже известных ему в общих чертах, — может быть, по другим их славянским аналогиям. Ему важны национальные варианты, и это симптоматично; мы постараемся показать далее, что в собственной повести на болгарскую тему Вельтману не удалось решить как раз проблему национального колорита. Здесь нам следует отметить, что самая проблема, по-видимому, все же находится в поле его зрения. Интересы Вельтмана лежат прежде всего в области народной мифологии и обрядовой поэзии. Этот интерес не есть индивидуальная особенность: он является общим для всей романтической фольклористики с ее постоянной тягой к выделению древнейших исторических звеньев народной жизни. В письме В. Априлову от 17 сентября 1837 г. Венелин формулировал именно эту программу собирания памятников народного быта: разные верования и суеверия — в вампиров, колдунов, таинственную силу растений и камней, талисманов и пр.; семейные и календарные обряды<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Скерлий J. Историја нове српске књижевности. Београд, 1953. С. 150—151.

<sup>2</sup> Сиверс А. А. Семья Ризнич. (Новые материалы) // Пушкин и его современники. Вып. XXXI—XXXII. Л., 1927. С. 94.

<sup>3</sup> См. об этом: Ланда С. С. Ян Потоцкий и его роман «Рукопись, найденная в Сарагосе» // Потоцкий Я. Рукопись, найденная в Сарагосе. М., 1971. С. 6, 30 и сл. Об исторических работах Потоцкого см.: Францев В. А. Польское славяноведение конца XVIII и первой четверти XIX столетия. Прага, 1906. С. 47—62.

<sup>4</sup> Арнаудов М. Априлов. Живот, дейност, съвременници (1789—1847). София, 1935. С. 375 и сл.

28 марта 1841 г. Липранди пишет Вельтману из Петербурга: «В прошлом году, 10 декабря, писал я к вам и послал *коледу* и пр., но не знаю, получили ли вы, потому что не имею от вас ни слова»<sup>1</sup>. Речь, по-видимому, шла о нескольких листах с записями народных песен, сохранившихся и ныне в архиве Вельтмана<sup>2</sup>. Это был уже подлинный болгарский фольклор, и запись была сделана болгаринном. Параллельно с Венелиным Вельтман начал профессионально-фольклористическую работу по составлению сборника болгарских народных песен. Венелин получал тексты песен от В. Априлова; последний — от Неофита Рыльского и А. С. Кипиловского, начавших фольклористическую деятельность. Вельтман трудился вместе с Н. Катрановым (1829—1853), рано умершим студентом Московского университета, известным в русской литературе как прототип тургеневского Инсарова<sup>3</sup>. Собранные Вельтманом и Катрановым песни попали в сборник П. Безсонова (1855), наиболее полный для своего времени свод болгарского песенного фольклора. К моменту знакомства с Катрановым, приехавшим в Москву в 1848 г., Вельтман уже располагал какими-то материалами, в том числе и присланными Липранди. Дата «1840 г.», указанная в письме последнего, дает возможность установить хронологию работы Вельтмана-фольклориста. Повесть о Райне, королевне болгарской, появляется в 1843 г.; ей предшествуют занятия Вельтмана болгарским народным творчеством.

По-видимому, около этого времени Липранди присылает Вельтману и сделанные им записи болгарских обрядов и поверий. Они, конечно, предшествуют коляде: в них Липранди передает общее содержание песни и цитирует ее очень осторожно, с оговорками, — во всем этом не было бы необходимости, если бы Вельтман уже имел ее текст.

Записи Липранди посвящены нескольким сюжетам. Одна из них — описание календарного праздника Георгиев день; вторая — упомянутое уже изложение колядки; третья посвящена народным представлениям о вампирах, «полтениках». Они дают нам право включить Липранди в немногочисленный список ранних русских славяноведов-фольклористов, понимая, конечно, всю условность этого обозначения в применении к полудилетанту. Нам приходилось уже упоминать о постоянном стремлении Липранди соотнести исторические и литературные данные с собственными наблюдениями на местах. Если в исторических штудиях эти наблюдения, сделанные без специальной археологической подготовки, могли быть только более или менее вероятными гипотезами, то при изучении этнографии и народного быта они становились свидетельствами очевидца. Записи Липранди принадлежат к числу самых ранних памятников болгарской фольклористики, — если учесть, что в их основе лежат впечатления конца 1820-х

<sup>1</sup> ГБЛ. Вельт. II. 4. 17, л. 1.

<sup>2</sup> ГБЛ, Вельт. III. 16. 8, л. 216—219 об.

<sup>3</sup> Новейший свод данных о Катранове см.: *Велчев В.* Българо-руски литературни взаимоотношения през XIX—XX вв. София, 1974. С. 225 и сл. (с литературой вопроса).



годов, по-видимому тогда же и зафиксированные в том или ином виде. В отличие от многих других фольклористов своего времени он стремится документировать свои сообщения и даже локализовать обряды географически. В одном случае он упоминает об источнике первостепенного интереса, по-видимому утраченном безвозвратно, — о рукописи, оставленной ему профессиональным истребителем вампиров и, видимо, содержавшей наставление по отправлению всей церемонии.

Самые факты, сообщенные Липранди, в настоящее время известны в фольклористике<sup>1</sup>. Колядка, пересказанная им, по свидетельству современных исследователей, одна из наиболее распространенных, существующих во множестве вариантов: «Замъчи се божа майка От Игната до Коледа»; речь в ней идет о том, что богородица почувствовала родовые муки на Игнатов день, 20 декабря, и родила «млада бога» в день Коляды, 24 декабря. Далее, как и пишет Липранди, упоминаются христианские святые, «персидские цари» (волхвы) и т. д. Липранди совершенно точно почувствовал здесь «древнее предание»; но ему, рационалисту даже в вопросах религии, конечно, не ясен генезис песни: поздние христианские наслоения на языческом субстрате<sup>2</sup>. Второй описанный им обряд — на Георгиев день (23 апреля) — также принадлежит к числу распространенных и устойчивых. Липранди, как можно думать, не видел всех ритуальных празднеств и церемоний, продолжающихся несколько дней, и дал только описание заключительного жертвоприношения. Оно почти совпадает со свидетельством Н. Герова: в самый день 23 апреля каждый хозяин дома закалывает в жертву св. Георгию ягненка мужского пола; кровь жертвенного животного собирают в сосуд и рисуют ею кресты на воротах дома и на лбу и щеках детей; кости же не выбрасывают, а зарывают в муравейник, «чтобы овцы плодились, как муравьи»<sup>3</sup>. Позднейшие описания показывают, что Липранди не ошибся и в тех деталях, которых мы не находим у Герова: свечи на рогах жертвенного ягненка ставят и до сего времени и тщательно следят, чтобы во время жертвоприношения ни одна капля крови не упала на землю: человек, случайно наступивший на кровь, может ослепнуть или заболеть неизлечимой болезнью. Поэтому сосуд с жертвенной кровью зарывают в землю. Последнее объяснение, впрочем, не единственное и, возмож-

<sup>1</sup> При любезном содействии акад. П. Н. Динкова автор настоящей работы получил в Институте этнографии Болгарской Академии наук ряд необходимых сведений, касающихся материалов Липранди. Аналогичные верования и обряды известны в записях XIX—XX вв. Некоторые термины в передаче Липранди не находят аналогии в записях; к ним относится, например, неизвестное в Болгарии слово «краконопол»; транскрипция других слов не вполне точна (ср. «кольва» — болг. «коливо»). Здесь возможна ошибка самого Липранди или отражения каких-то диалектных особенностей. (Этой справкой автор обязан научному сотруднику Института этнографии Болгарской Академии наук ныне покойной Т. А. Колевой).

<sup>2</sup> Иванов Й. Българските народни песни. София, 1959. С. 129—130; Динков П. Български фолклор. Ч. I. София, 1959. С. 284.

<sup>3</sup> Геров Н. Речник на българският език. Ч. I. А—Д. Пловдив, 1895. С. 212—213.

но, вторичное: зарывание сосуда преследовало цель получения урожая или приплода скота, как об этом писал и Геров; жертвенная кровь использовалась как лекарство.

Третий рассказ Липранди — об уничтожении «полтеников», — вероятно, наиболее интересен. То, что тема «вампиризма» привлекла внимание Вельтмана, вовсе не удивительно для середины 1830-х годов. С конца предшествующего десятилетия она незаметно, но прочно входит в русскую литературу. История этого проникновения заслуживает особого исследования и не может занимать нас здесь; важно отметить, однако, что «рассказы о вампирах» постоянно опирались на славянские фольклорные источники — подлинные или фиктивные. «Гузла» П. Мериме (1827) была прямо под них стилизована; и «Константин Якубович», и «Вампир», и «Кара-Али-вампир» подавались как народные иллирийские баллады<sup>1</sup>. П. Киреевский, переводя «Вампира» Полидори в 1828 г., счел нужным приложить к книге подробный фольклористический комментарий, где ссылался на венгерские, польские, австрийские поверья<sup>2</sup>, в 1833 г. О. Сомов печатает свою повесть «Киевские ведьмы», основанную на мотивах украинского фольклора, — с темой ведьмы-упыря, высасывающей кровь возлюбленного<sup>3</sup>. Это романтическое поветрие держалось еще в 1840-е годы; вспомним широко известных «Упыря» и «Семью вурдалаков» А. К. Толстого. Вельтман не остался в стороне от общего увлечения: в его романе «Светославич, вражий питомец» (1835) в одном из эпизодов является Хульда, колдунья, которая «по ночам ходила кровь пить людскую»; «люди взяли да и положили ее ничком и вбили кол в спину»<sup>4</sup>. В этом пассаже ощущаются следы знакомства с народной обрядностью; обычай переворачивать «заложного» покойника, в том числе упыря, вампира, со спины на живот был широко известен; еще в конце XIX в. он существовал в ряде областей России<sup>5</sup>. По-видимому, Липранди не без основания предполагал, что его корреспондент знает и сербские обряды, касающиеся вампиров.

То, что сообщал Липранди Вельтману, было результатом собственных впечатлений, собранных рассказов и, возможно, чтения рукописи, о которой он упоминал. Есть основания думать, что его описание совершенно не испытало влияния романтической литературной традиции и даже

<sup>1</sup> О рецензии «Гузлы» в русской журналистике см.: Трубицын Н. О народной поэзии в общественном и литературном обиходе первой трети XIX века. (Очерки). СПб., 1912. С. 117—118.

<sup>2</sup> Соимонов А. Д. П. В. Киреевский и его собрание народных песен. Л., 1971. С. 73—74.

<sup>3</sup> Русская повесть XIX века. История и проблематика жанра. Л., 1973. С. 152—153 (статья Н. В. Измайлова).

<sup>4</sup> Светославич, вражий питомец. Диво времен красного солнца Владимира. Ч. II. Соч. А. Вельтмана. М., 1835. С. 30.

<sup>5</sup> Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии. Вып. I. Пгр., 1916. С. 55, 68, 83; Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства, М., 1971. С. 271. Ср. указания на аналогичные обычаи в Австрии: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Bd. VI. Lief. 6. Berlin; Leipzig, 1934. S. 819.

сложилось до того, как эта традиция стала фактом русской литературы. Прежде всего, в нем нет типа вампира, высасывающего человеческую кровь; «полтеники» встают из гробов, чтобы беспокоить живых: пугать их, наносить ущерб хозяйству и в редких случаях приносить смерть. Именно этот круг представлений мы находим и в словаре Н. Герова: вампиры (как и «полтеники») сосут кровь животных (последние — только детенышей), душат маленьких детей и больных. «Полтеники» покидают могилы и днем, и ночью; вампиры — только ночью, за исключением суббот, когда они остаются в гробах. Их можно убить колом из черного глога (боярышник — *Crataegus monogyna*), причем эту операцию совершает особое лицо — глог, «глогын-ковець»; для этого он раскапывает могилу и забивает кол в живот «полтеника», так, чтобы он прошел насквозь и засел в земле; при этом тело поливается горячим вином или маслом, после чего «полтеник» уже не может выйти на свет<sup>1</sup>. Рассказ Липранди содержит лишь незначительные отклонения от описаний Н. Герова: могила не раскапывалась; «вино» и «масло» заменялись водой, «смешанной с каким-то прахом»; кол забивался не в живот, а в голову, и т. д.

Таковы в общих чертах фольклористические работы Липранди, посланные Вельтману. Как памятник ранней русско-болгарской фольклористики они несомненно имеют право на наше внимание. Но к сказанному мы должны добавить еще одно соображение, как нам кажется, подчеркивающее примечательную особенность его записей.

Липранди был, помимо всех своих прочих дел и обязанностей, политическим наблюдателем — и оставался им даже тогда, когда был занят историческими и фольклористическими изысканиями. С другой стороны, он некогда стоял в непосредственной близости к тайным обществам юга, — и его наблюдения далеко не всегда носили официальный характер. Завскаса просветительства в его мировоззрении была достаточно сильна, — и в его этнографических «отчетах» она выразилась в постоянном стремлении уло-

<sup>1</sup> Геров Н. Речник... Ч. I. С. 105, 221; Ч. IV. С. 46. Более дифференцированную картину поверий дает Д. Маринов, указывающий, в частности, что название «полтеник» употребительно преимущественно в западной Болгарии. Согласно поверьям, записанным Д. Мариновым, «полтеник» до шести месяцев существует в виде тени, после чего воплощается, принимая образ того, кем он был до смерти; тогда он начинает пить и человеческую кровь (см.: Маринов Д. Народна вяра и религиозни народни обичаи // Сборник за народни умотворения и народопис. Кн. XXVIII. София, 1914. С. 216—218). Некоторые детали обряда, отмеченные Липранди, близки к тем, которые много позже были интерпретированы Д. К. Зелениным: в деревне Кимбеть близ Аккермана во время засухи 1867 г. к могиле упыря «привезли две бочки воды, раскопали могилу аршина на полтора, по направлению к голове, и *вылили туда воду*». Ср. обычай у чувашей: во время бездождия на могилы скорострительно умерших выливают до 40 ведер воды, для чего «вбивают до гроба кол и в дыру вливают воду». По объяснению Д. К. Зеленина, вода заливается в могилу упыря либо для того, чтобы избежать засухи, которую он может вызвать, либо чтобы затруднить ему возвращение на землю (см.: Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии. С. 22, 73, 293).

вить социальное функционирование обряда. В этом было отличие Липранди от абсолютного большинства современных ему фольклористов романтической ориентации. Он увидел и зафиксировал то, что фиксировалось исключительно редко: отношение к обряду властей и официальной церкви. Его просветительский антиклерикализм позволил ему заметить, что служители церкви поддерживают и даже освящают «суеверие», потому что извлекают из него выгоду, — и он точно описал размер этой выгоды. Рассказ об освящении жертвенного животного окрашен у него почти саркастическими нотками; в тех же тонах рисуется общественное положение «шамана» — глога, который за восьмидневное свое пребывание в деревне «переест множество живности» и выпьет «до 50 ок» вина, — подсчет, необыкновенно выразительно характеризующий и аппетиты глога, и пунктуальность наблюдателя. Эта социальная окрашенность, делающая записи Липранди поистине драгоценными для современного историка и социолога, не была, однако, свойственна Вельтману, с его стремлением к идеализации старины. Его интересовал самый обряд, быт, история, которые в скором времени получают у него романтическую и славянофильскую интерпретацию. Липранди предоставлял ему материал, — как историк и собиратель; художественные же идеи и ассоциации, которыми облекались болгарские реалии, исходили из других источников. Этот ассоциативный круг, с трудом улавливаемый и определяемый, однако, существовал реально, — и не только для Вельтмана, но и для целого ряда современных ему историков и художников, которые одновременно с ним начинают открывать для русской литературы совершенно новую область.

## Болгарские обряды и предания

### в записи И. П. Липранди

1-е. В Булгарии имеют обычай в день *св. Георгия, св. Параскевы и св. архангела* приносить в жертву сим святым агнца. Для сего они зажигают две восковые церковные свечи и прилепливают оные ко рогам агнца; по кадиллом с ладаном обкуривает его кругом, как бы какого-либо святого или образ; потом снимают свечи и режут его так, чтоб ни капли крови не пало на землю, и для сего обыкновенно готовится особенный сосуд. Кровию сей намазывают детей своих, чертя кресты на лбу, щеках и бороде. Когда же зажарят барашка сего, то собираются все домашние и холостая родня, призывают опять попа, который над сим зажаренным барашком читает *тропарь* и другие молитвы и наконец благословляет оного. Кожа и жареная передняя лопатка принадлежит священнику, которую он тотчас и берет к себе, что в большой деревне, где в каждом почти доме празднуется сей святой, составляет немаловажный доход для него. Иногда священник по каким-либо причинам прибыть в дом не может или не успеет быть в каждом, то в таком случае посылает одного из своих сыновей, который, прочитав «Отче наш», берет шкурку и лопатку и возвращается домой.

Когда съедят всего барашка сего, тогда с большим тщанием собирают все кости, самые даже мелкие, и закапывают в землю. Несомненно, что обычаем сей, основанный на невежестве, поддерживаясь священниками, имеющими от сего прибыль, долго еще будет существовать.

В Сербии, Боснии, Герцеговине и в других местах Оттоманской империи, равно и между турками, в день св. Георгия и в пасху жарится барашек, но без подобной церемонии, исключая, что в день пасхи христиане иногда вносят онго в церковь.

2-е. Булгары истребляют *ватмиров*<sup>1</sup> также *глоговым* деревом, они называют их *полтениками*, иногда *краконополами* и *варколаками*; верят, что мертвые тела сии посредством дьявольского наваждения встают из гробов своих и беспокоят живых, а преимущественно родственников.

*Булгары* убеждены, что *полтеники* могут входить в дома, разбивать все, что заблагорассудят, пугать, а иногда получать таковую силу, что убивают людей и скот.

Если где в *Булгарии*, в городе или деревне, появится таковой *полтеник*, тогда все идут (даже с разрешения турецкого местного правительства) к тому, который назначен убивать такового *полтеника* и которого называют *глог*, оттого, что он употребляет для сего дрекол (кол) *глогового* дерева; тогда, обыкновенно в субботу (в день, когда, по мнению *глога*, *полтеник* не оставляет могилы, в прочие же дни он ходит), *глог* сей приходит на гроб того или той, которого подозревают быть *полтеником*, т. е. обыкновенно умершие скоростижно или <от> весьма кратковременной болезни, по мнению их, делаются таковыми.

По прибытии на место *глог* делает изостренным *глоговым* своим дреколом (батиной) на могиле над самым гробом три ямы, беспрестанно поливая их водою. Самую большую делает над головою умершего до самого трупа, потом вливает воду, смешанную с каким-то прахом; потом берет дрекол и бьет его в большую сию над главою яму, до того, что он весь войдет в землю<sup>2</sup>; при сем часто поливает водою, смешанною, как выше сказано, с каким-то составом; тогда уверяют *булгары*, что конец кола, видимый из земли, обгаряется кровью, и присовокупляют, что это сам дьявол то тело уязвляет. После всего сего *полтеник* уже не оставляет более никогда своей могилы.

*Глог* уверяет, что таковой *полтеник*, если не будет вышеупомянутым образом убит, в продолжение целого года может беспокоить жителей. За все сие *глог* берет что хочет, от 50 до 200 левов, сверх сего, в продолжение восьмидневного его пребывания в городе или селе он выпивает до 50 ок вина и переест множество живности и пр.

Вот что *булгары* рассказывают о сем *глоге*, что будто праотец его был ловцом зверей и, расставляя для сего сети, он часто поутру находил их с места сдвинутыми — и должен был опять снова раскладывать; но на другой случилось всегда то же самое. Желая узнать, кто препятствует и мешает

<sup>1</sup> По-видимому, ошибка переписчика (вместо «вампиров»).

<sup>2</sup> В Эски-Емине я видел эту церемонию сам (примечание Липранди).

ему в сем, скрылся однажды ночью в тайное место, из коего вдруг услышал среди ночи большой шум, который приближался к тому месту, где разложена была его сеть, и увидел толпу народа, у которого все лица были черные; иные с рогами, другие с *опашами*, т. е. с хвостами, некоторые были пешком, но многие на разных четвероногих животных; все они следовали одним путем, но один из дьявольского сего собрания отделился, подошел к сети и отнял ее. Другой же сказал ему: «Зачем ты делаешь человеку пакости каждый день; если б человек сей знал, да положил бы под свою сеть глоговое дерево, тогда бы ты уцеломудрился и рассказал бы ему все тайны, которые знаешь». «Да, — отвечал тот, — я уверен, что эта мысль ему не придет в голову».

Когда же все дьяволы разошлись, то праотец *глогов*, слышав весь разговор сей, нашел тотчас глоговое дерево и подложил под сеть свою. На следующую ночь он услышал опять шум дьявольского сего собрания и опять увидел одного из них отделившегося *немирного дьявола* к сети, дабы ее отнять, но попался сам в оную и не мог следовать за другими своими товарищами. Праотец же *глогов*, дождавшись дня, подошел к своей сети и увидел в оной черта, но преображенного в самого настоящего турка в полном одеянии, который угрожал старому глогу и говорил: «Как ты дерзнул поставить сеть свою здесь на царской дороге?» «Я сейчас тебе скажу», — отвечал ему старый глог и, взяв из-под сети глоговое дерево, начал сего видимого турка бить беспощадно, который не могши вылезть из сети, начал просить и говорить: «Оставь меня, я тебе покажу одно ремесло, которым ты и чада твои в изобилии везде жить могут». «Какое ремесло?» — спросил старый. «Ступай, — сказал дьявол, — в такое-то место, там ты найдешь такое-то былие, с которым ты и с глоговым деревом будешь иметь силу всех дьяволов изгнать из мертвых тел, т. е. *полтеников* истреблять». Старый, услышав сие, отпустил турка, который вдруг исчез. *Глог* передал сие дьявольское научение сынам и внукам своим.

Еще уверяет болгарский *глог*, что умершие некрещенные дети христиан, когда делаются *полтениками*, то бывают сильнее обыкновенных. Турки бывают также *полтениками*; и с ними *глог* поступает одинаково. Но жида, по мнению болгар, *полтениками* не бывают и быть не могут. Рассказывают, даже и сам *глог* уверяет, что он один чрез лес или поле ходить не смеет, ибо волк его приметит или почует, тогда вмиг растерзает.

Обычай сербов истреблять вампиров другим образом здесь не упоминаю, потому что, полагаю, у вас есть, — они их называют не *полтениками*. Я сохранил рукопись, сделанную мне попом Эски-Емина Магмет Хаджи-башею и *глогом*, который ночевал у меня тут.

3. В северной или нагорной Булгарии празднества сохранили некоторую тень древних их преданий.

Например, в праздник рождества Христова, называемый простолюдинами *Коледа*, есть древний обычай (но не в городах), по деревням только, где молодые неженатые люди собираются прежде праздника за день или за два, по десяти и более вместе, и ходят по селению от дома до дома,

поют древнюю песнь, и жители дают им разные припасы, как-то: мясо разного рода, хлеб и тому подобное, но вместе с сим неотменно, хотя малую часть, льну и волны.

Песня сия заключается в сих словах:

Замучися божия майка,  
Ой Коledo, мой Коledo!  
От Игната<sup>1</sup>, мой Коledo,  
Ой Коledo, мой Коledo!

Прочие слова мне неизвестны; однако знаю, что они в оной поминают рождество Христово, царей персидских, ангелов, пастырей и пр.

Все собранные запасы и прочие в день рождества Христова приносят среди деревни на какое-либо пространное место, ставят стол, и, продавши волну и лен, покупают вино, и целый день пьют, едят, угощают всех, и поют сию же самую песню, как равно и пляшут. Песнь сия поется только до дня св. богоявления.

В Сербии и других местах некоторые есть изменения.

4. Булгары называют кутью сию *кольва* (сербы «колива»). Она состоит, как и везде почти, из отваренной пшеницы с изюмом, медом или сахаром и корицею. Набожные булгары каждую субботу поминают покойников. В сии дни церкви заставлены блюдами с оною. По совершении молитв над ними и по выходе из церкви ее раздают всем, даже встречающимся, и при сем подают водку. Родственникам и знакомым *кольву* рассылают с воткнутыми в нее зажженными свечами на большом подносе, в коем иногда ставят еще два или три других блюд с кушаньями.

Мнение булгар о ведьмах, чародеях, святых и пр., и пр. почти одинаково с сербами, которые вы найдете у *Караджича*. Если б что потребовалось вам более — уведомяте.

ГБЛ, Вельт. III. 16. 8.

### У истоков исторической повести

Русско-турецкая война 1828—1829 гг. открыла русским ученым и литераторам пути в Болгарию.

20 марта 1829 г. от берегов Одессы отправляется венецианский бриг «La Perseveranza», уносящий к «берегам Мизии» двадцатипятилетнего путешественника и поэта В. Г. Теплякова, этого «русского Мельмота» или Чайльд-Гарольда, по политическому доносу проведенного полгода в Петропавловской крепости и высланного на юг без права жительство в столицах. Он едет, облеченный полномочиями проводить археологические разыскания на освобожденных от турецких войск территориях; едет с грузом исторических и литературных ассоциаций на места античного Причерноморья, чтобы

<sup>1</sup> Празднуемый святой в день 20 декабря (примечание Липранди).

искать следы древней Фракии, греческие мраморы и монеты и могилу Овидия. Результатом его поездки были антики для одесского музея, археологические отчеты, превосходная эпистолярная проза его «Писем из Болгарии» и цикл «Фракийских элегий», привлечший внимание Пушкина<sup>1</sup>. Однако нас интересует сейчас не его деятельность в целом, а лишь некоторые ее эпизоды.

В апреле 1829 г. Тепляков сделал остановку в окрестностях Девно. По-видимому, здесь произошла его встреча с И. П. Липранди, и тот рекомендовал ему обратить внимание на равнину близ Афлотара, где, по его соображениям, было место знаменитой битвы Святослава с Цимисхием в 971 г.; сам Липранди, опросив местных жителей, добыл найденное в земле оружие «вроде бердышей чрезвычайной тяжести», которое потом, в 1830 г., передал в Бухаресте для обследования Венелину<sup>2</sup>. Был ли разговор с Липранди толчком, направившим ход исторических размышлений Теплякова, или самого его заняли проблемы средневековой истории Болгарии — сказать трудно; но в апреле 1829 г. он как будто отвлекся от остро интересовавших его античных тем. Стоя на том месте, где, как он считал, находилась древняя болгарская столица, русский поэт созерцал «зеленый луг» с «тысячей речных меандров, голубых лент, с перспективою гор, синеющихся издали подобно колоссальным головам сахару», и сказочная красота открывшейся картины объяснила ему намерение Святослава «перенести своих скандинавских богов в стены Траянова Маркианополя»<sup>3</sup>. Мысль его обращается ко временам Крума и войн Болгарии с Византией; он приводит исторические справки, долженствующие подкрепить «ученое мнение г. Бларамберга» о тождестве Девно с древним Маркианополем, якобы ставшим столицей Болгарии и с тех пор называвшимся в византийских летописях «Великим Переяславом или Перфлавом, ἡ μεγάλη Περδλάβα». Он вспоминает страницы «Истории» Карамзина, где шла речь о воцарении князя Святослава в 967 г. в Маркианополе, «Болгарском Переяславце», и радуется мысли, «что и русская сталь отпечаталась в сих самых местах на груди Византии», что «и киевские варвары делили сокровища кесарей на пиру народов, за упокой древней вселенской монархии»<sup>4</sup>. И далее в его письме появляются размышления о неисповедимом ходе истории, сменяющей старые царства новыми, без видимой цели переходя от развалин к развалинам. «Опустошительный ураган варваров» преобразил мир — «но что же в том?..» В прозаический текст вторгается стихотворный фрагмент — из третьей «фракийской элегии» Теплякова «Берега Мизии». Исторические разыскания ближайшим путем преобразуются в обобщенный художественный мотив, где

<sup>1</sup> Тепляков В. Письма из Болгарии. М., 1833; Стихотворения Виктора Теплякова. СПб., 1836. «Фракийские элегии» перепечатаны: Поэты 1820—1830-х годов. Т. I. Л., 1972. С. 608—660. О путешествии Теплякова в Болгарию см.: Бруханский Л. «Письма из Болгарии» В. Г. Теплякова // Из истории русско-славянских литературных связей XIX в. М.; Л., 1963. С. 312—323.

<sup>2</sup> Липранди И. П. Болгария. С. 6.

<sup>3</sup> Тепляков В. Письма из Болгарии. С. 141.

<sup>4</sup> Там же. С. 136—137.



болгарские впечатления растворены и внешне, казалось бы, неощутимы, но составляют вместе с тем некий субстрат, фундамент возводимого поэтического здания.

Так было в третьей элегии. Четвертая же элегия — «Гебеджинские развалины» — возникает непосредственно на конкретном и локальном материале. 22 апреля Тепляков, по-видимому, первым из европейских путешественников становится зрителем грандиозной картины: в 15-ти верстах от Варны, «по направлению к Праводам» (совр. район сел Солнчево, Баново, Страшимирово, Марково и Белослав Варненского округа), взору его открываются «огромные колонны», рассыпанные «по пространству более 3-х верст», без всякой «архитектурной последовательности». «Целые тысячи сих чудесных колонн поражают вас самыми странными формами. В иных местах они возвышаются совершенно правильными цилиндрами; в других — представляют вид башни, обрушенной пирамиды, усеченного конуса; иные делаются книзу толще и кажутся опоясанными широкими карнизами». Это были так называемые «Побитые камни» («Побити камъни»), которые еще спустя несколько десятилетий занимали болгарских и западноевропейских геологов, установивших позднее их сталактитное происхождение. Тепляков сам пытался ответить на этот вопрос и, насколько мог, обследовал столбы, пытаясь обнаружить следы человеческой руки, но поиски были бесплодны, и он оставил последующим естествоиспытателям и «антиквариям» решать, есть ли это «массы простых базальтических обломков» или произведения древнего зодчества, «остатки огромного древнего поселения»<sup>1</sup>.

Как ученый Тепляков не скрыл от читателя своих сомнений; как поэт он явно предпочел последнюю версию. В «Гебеджинских развалинах» он продолжил тему исторического круговорота цивилизаций, отправляясь от сделанного им открытия. Пейзажный фон, на котором разворачивается его описание руин, есть живописное отображение ландшафтов, виденных им на месте «древнего Маркианополя»; упоминание о «битвенной равнине», «покрытой мертвою и раненой дружиной», быть может, ассоциативно связано с разговорами о русско-византийских битвах времен Святослава и Иоанна Цимисхия. Созерцание «гебеджинских развалин» вызывает в его сознании картины «допотопных», доантичных времен, — и культурный комплекс, изображаемый им в элегии, ничего общего не имеет с античностью:

Быть может, некогда и в этом запустенье  
Гигантской роскоши лилось обвороженье:  
Вздымались портики близ кедровых палат,  
Кругом висячие сады благоухали,

<sup>1</sup> Ср.: Отчет о разных памятниках древности, открытых и приобретенных в некоторых местах Болгарии и Румелии. Представлен е<го> с<ветлости> г<осподину> новороссийскому и бессарабскому генерал-губернатору графу М. С. Воронцову В. Тепляковым. Одесса, 1829. С. 6—7; *Тепляков В.* Письма из Болгарии. С. 105 и сл., 193 и сл.; Поэты 1820—1830-х годов. Т. I. С. 654—655.

Теснились медные чудовища у врат,  
И мрамор золотом расписанных аркад  
Слоны гранитные хребтами подпирали!  
И здесь огромных башен лес  
До вековых переворотов  
Пронзал, быть может, свод небес,  
И пена горных струй средь пальмовых деревьев  
Из пасти бронзовых сверкала бегемотов!

Это не античность и не славянский мир; сам Тепляков в примечании к элегии указывал, что он опирался на «некоторые обозначения Крития, Эвсевия, Лукиана и Плутарха»<sup>1</sup>, но едва ли только на них. В его описании ощущаются следы ориентальной лирики В. Гюго, посвященной древнему Востоку — Вавилону или Содому и Гоморре; «гранитных слонов», подпирающих гигантские здания, «висячие сады, полные цветов и аркад», яشمовых идолов мы находим в знаменитом «Небесном огне» («Le Feu du Ciel»), открывающем сборник «Les Orientales» (1829) и трактующем ту же эсхатологическую тему. Реальные впечатления вновь облеклись у Теплякова многообразными ассоциациями — историческими, литературными; болгарская история опять ушла в субстрат, в «литературное подсознание»; проблема национального колорита не возникла. Этому поэту вообще не был свойствен преимущественный интерес к славянству и славянским древностям — ни в конце 1820-х годов, ни позже; идеи формирующегося славянофильства шли мимо него. Однако он коснулся, быть может неожиданно для себя самого, целого узла проблем, которые на какое-то время выдвинулись на передний план для русских и болгарских культурных деятелей.

Липранди принадлежал к числу первых заинтересованных читателей Теплякова. Он отметил письма о «гебеджинских развалинах» и вступил в полемику с поэтом, решительно утверждая их естественное происхождение. Поэтические образы «допотопной» древности мало занимали этого скептика и позитивиста; зато исторической топографией Преслава он интересовался специально и в своих разысканиях пришел в резкое противоречие с мнениями Карамзина, Теплякова и Бларамберга. «На месте древнего *Переяславца*, или *Большой Преславы*, — писал он в составленной им истории, — ныне стоит г. *Ески-Стамбул*, около 18 верст от *Шумлы* к *Балканам*. Епископ, имеющий пребывание свое в *Шумле*, сохранил наименование епископа *Преславского* и так именуется в фирманах, выдаваемых Портою на сей предмет. Что же касается до жителей булгар, то они совершенно никакого предания о сем не имеют. В бытность мою в 1828 году в *Ески-Стамбуле* я нашел следы обширнейшего города, коего настоящий занимает едва десятую только часть. Остатки сии видны преимущественно в правую сторону, и на оконечности тут одной скалы видно что-то подобное на основание замка, довольно пространного<sup>2</sup>. Старая мечеть, именуемая *Ески-джеме*, нет

<sup>1</sup> Поэты 1820—1830-х годов. Т. I. С. 623, 656.

<sup>2</sup> См. план окрестностям *Ески-Стамбула* (примечание Липранди).

никакого сомнения, была первобытно построена для христианского храма, весьма просторного. Занятия и время препятствовало сделать более на месте разысканий, которые несомненно могли бы пояснить многое и определить эпоху хотя построения оной — как равно и некоторым другим древностям, заключающимся в сем городе, названном *Марцинополем*, от имени Марцианы, сестры Трояновой»<sup>1</sup>.

Именно эта проблема, вскользь затронутая Тепляковым, — проблема, связанная с узловыми моментами болгарской истории, привлекает к себе внимание болгарских культурных деятелей и тесно связанного с ними Ю. И. Венелина. В 1827 г. А. С. Кипиловский готовит к изданию составленную им болгарскую историю. «Для болгар нужна их история; они не знают своих предков»<sup>2</sup>. Эта мысль становится лейтмотивом переписки В. Априлова и Н. Палаузова с Венелиным. Венелин требует археологических разысканий; он также хочет знать, где находилась древняя болгарская столица. Априлов не может ответить ничего определенного: «Касательно же *Преславы* и проч. скажем, что хотя бы архимандрит *Неофит* или кто-либо из тамошних и посетил ее развалины, то мало принес бы пользы; ибо они не умеют снимать планы с развалин, как должно. Но со всем тем мы надеемся, что они что-нибудь да сделают. Не знаем, за что г. *Тепляков* в своих письмах из Болгарии (1829), следуя г. *Бларамбергу*, ставит ее в нынешнем *Девно*, где находятся его гигантские развалины»<sup>3</sup>. Эту часть письма Венелин опубликовал; в подлиннике сохранилась опущенная им фраза, почти совпадающая с тем, что писал Липранди и затем Вельтман: «Преслава существует и по церковному учреждению, там есть епископ и ныне»<sup>4</sup>. Примечание самого Венелина гласит: «*Преслава*, в русских летописях *Переяславец Дунайский*, лежит на дороге от Шумна в Цариград. Возле гигантских ее развалин теперь не более 400 домов. Преслава была древнейшею столицею болгарских царей; некогда огромный город. Вот почему греки всегда ее называли *Περσλάβα Μεγάλη*; т. е. *Великая Преслава*. Турки и доселе называют *Эски-Стамбул*, т. е. *Старый Цареград*. Преслава имеет своего епископа, местопребывание коего есть *Шумна*»<sup>5</sup>.

Симптоматична эта общность интересов, проблематики, даже самих доводов. Она не может быть случайной. Вопрос о месте древней болгарской столицы приобретал широкий смысл — это был вопрос об исторической

<sup>1</sup> См. труд И. П. Липранди «Исторические исследования о болгарях от 912 до 999 г.» (ЦГИА, ф. 673, оп. 1, № 257, л. 35; далее: Липранди). Ср.: *Въжарова Ж. Н.* Руските учени и българските старини. С. 54—55; Древности. Замечательные места в Булгарии. Из записок о Булгарии генер. И. П. Липранди // Картины света. Ч. II. С. 242—248.

<sup>2</sup> См. письмо Н. Палаузова и В. Априлова к Ю. И. Венелину от 22 мая 1826 г. (в кн.: *Венелин Ю.* О зародыше новой болгарской литературы. № 1. М., 1838. С. 26).

<sup>3</sup> Там же. С. 42—43.

<sup>4</sup> *Унджиева Ц.* Документи по българското Възраждане в съветските архиви // Известия на Института за литература. 1962. Кн. XII. С. 138.

<sup>5</sup> *Венелин Ю.* О зародыше новой болгарской литературы. С. 43.

топографии военных, политических и культурных контактов Болгарии и России. В середине 1830-х годов эта тема является как будто по историческому вызову. «Письма из Болгарии» выходят в свет отдельным изданием в 1833 г.; через два года Н. А. Полевой оканчивает свои «Византийские легенды», в предисловии к которым намечает возможное их продолжение: «Изобразить ли грозного соперника Цимисхиева, нашего *Святослава*, борьбу их на берегах Дуная, гибель обоих, одного в чертогах царяградских, другого в таборах печенегов?..»<sup>1</sup>. Мысль об исторической роли славянства пронизывает книгу Полевого; устами одного из персонажей, отшельника-мистика, он утверждает идею соединения «Севера с Седмихолмием»; он ссылается на «скифское», славянское происхождение императоров Юстина и Юстиниана, «переименованного так из славянского *Управд*»; приводит свидетельство Кедрина и Зонары о намерении императора Александра основать в Константинополе славянскую династию и в крещении Ольги усматривает предвестие «близкого пришествия славян на трон Царяградский»<sup>2</sup>. Именно с этой идеей оказалась связанной в «Легендах» фигура Калокира — «природного славянина», «скифа», посла Никифора к Святославу и предполагаемого соперника Цимисхия в борьбе за византийский престол; обрисовка Калокира у Полевого далеко отклонилась от исторических источников и даже от собственной его «Истории русского народа», и есть все основания думать, что ему предназначалась в дальнейшем важная роль.

Если бы Полевой осуществил свой замысел продолжения, он неизбежно бы пришел к необходимости ввести в повесть по крайней мере болгарский исторический фон. Намерения его остались нереализованными, но тема не исчезла из литературы. В том же 1835 г., на протяжении которого пишется первая часть его «Легенд», А. Ф. Вельтман, его давний знакомый, подает в цензуру свое новое произведение — роман в двух частях «Светославич, вражий питомец, диво времен красного солнца Владимира». Уже на первых страницах, как это нередко бывает у Вельтмана, мы находим в концентрированном виде целую сюжетную схему, которая потенциально может быть развернута в особую повесть, — здесь это история последнего драматического похода Святослава. Князь прощается с нелюбимой женой; в тревожном и пророческом его сне проходят картины «высоких берегов, сливающихся с небом», где «болонье покрыто шелковым ковром, солнце горячо, а волны и рощи дышат прохладой»; «в глубине лесистого *Имо* великий *Преслав*, стольный град краля болгарского, светит золотыми кровлями, покоится в недрах гор». Он видит и царя Бориса: Борис «горд, сидит на златокованном престоле, держит державу да клюку властную, не хочет знать Святослава»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> <Полевой Н.> Византийские легенды. Иоанн Цимисхий. Быль X-го века. Ч. I. М., 1841 (предисловие). Заметим, что именно «Пир Святослава» из «Легенд» Полевой публикует отдельно, до выхода всей книжки (Московский наблюдатель. 1835. Октябрь. Кн. I. С. 329—376).

<sup>2</sup> Там же. Ч. I. С. 181, 184, 188—189.

<sup>3</sup> Светославич, вражий питомец. Диво времен красного солнца Владимира. Ч. I. Соч. А. Вельтмана. М., 1835. С. 11—12.

Соблазнительно сопоставить этот отрывок с письмами Теплякова, уже несомненно известными Вельтману, и установить структурную общность описания: роскошный южный ландшафт рассматривается сверху, как будто с высоты птичьего полета; затем мысль (или взгляд) наблюдателя задерживается на «стольном граде» — Преславе. Но сходство здесь не есть результат подражания; природа Болгарии, поражающая воображение путешественника, становится элементом литературного образа страны, органической частью специфически болгарского колорита.

Роман Вельтмана не был романом о Святославе. Тема болгарских походов «последнего героя язычества» в «Светославиче» — лишь едва намеченная побочная тема. Однако в фокус внимания писателя уже попало то место «Повести временных лет», где сообщается о намерении Святослава основать в завоеванной Болгарии, оставив Киев. Уже намечается зерно любовной интриги — мотив равнодушия к жене. Пройдет восемь лет — и побочная тема разовьется в сюжет «Райны, королевны болгарской»; тогда возникнут новые ситуации и конфликты, в новом свете предстанут взаимоотношения Святослава и Бориса, и «Великий Преслав» станет основным местом действия. Сейчас все еще в стадии отдаленного замысла, столь же неясного, как и у Полевого, но с одним существенным отличием. Славянская древность не была для Полевого магистральной линией творчества. Для Вельтмана она органична. Выше мы пытались показать, каким образом его славяноведческие интересы локализовались в начале 1840-х годов в области болгарской истории и фольклористики. Совершенно естественно поэтому, что именно Вельтман, а не кто иной, обращается в 1843 г. к сюжету повести из болгарской истории, точнее, болгаро-русской истории, так как в концепции «Райны» Святославу принадлежит важная роль. И столь же естественно, что по своей проблематике, сюжету и даже отдельным мотивам повесть Вельтмана оказалась тесно связанной с теми вопросами, которые занимали современную ему историческую и художественную мысль. Его повесть начинается с элегической ламентации о древнем величии столицы царя Симеона «*Великого Преслава*», где «знаменовались подвиги... добросанного князя Святослава»: «Где ж этот белый град великого царства? Какие холмы венчались его твердынями? Никто не знает, кроме султана, который в фирмане своем именует владыку шумлинского преславским»<sup>1</sup>.

Нам уже знаком этот вопрос — не в его риторическом, а в археологическом варианте. Его задавали читателям и друг другу Тепляков, Венелин, Априлов. На него пытался ответить Липранди, и ответ этот почти дословно совпадает с цитированным местом повести Вельтмана. Липранди упоминал и о том, что болгарские старожилы «совершенно никакого предания о сем не имеют», — и едва ли не это сообщение подхватывает Вельтман, превращая его в художественный мотив *исторического забвения*, как будто прямо вырастающий из белого пятна археологических карт. В допечатном

<sup>1</sup> Библиотека для чтения. 1843. № 7. С. 13 (далее ссылки на повесть приводятся в тексте статьи).

тексте мы находим его в осложненном виде; беловая рукопись заканчивается словами:

«Было великое царство Болгарское, и не стало его; теперь Болгария тело без души; одичавший и запустевший сад, в котором там-сям видны еще следы прошедшей жизни: развалины древних городов, замков и храмов, где рядилось, молилось, гуляло и славилось славянство.

И теперь еще есть в Болгарии и небо, и земля, и все украшения их: и злак сельный, и былие травное, и источник, исходящий из земли и напоющий земное, и всякое древо красное в видение и доброе во снедь, и рыбы морские, и птицы небесные, и звери — да нет человека-делателя...»<sup>1</sup>

Именно эту идею — всеобщего круговорота, исчезновения древних цивилизаций — вынес из изучения болгарских древностей Тепляков. Мы видели ее и в «Письмах из Болгарии», и в «Берегах Мизии», и в «Гебеджинских развалинах». Но там она выступала в обобщенно-философском виде. У Вельтмана она наполняется новым содержанием. В его повести явственно обрисовывается тема контраста между историческим величием Болгарии и ее унижением под чужеземным владычеством — излюбленная тема Венелина и Липранди. «Райна» начинается с исторических воспоминаний об эпохе Симеона, с именем которого был связан политический и культурный расцвет Болгарин. Царствование Симеона привлекало русских славистов еще в начале XIX в.; с началом болгарского Возрождения интерес к нему, естественно, усилился. Первые болгарские историки начинают с изучения «века Симеона»; так называлась магистерская диссертация С. Н. Палаузова, знакомящая Вельтмана и ученика И. И. Срезневского; самый выбор темы носил характер национально-политической акции<sup>2</sup>. Но Вельтмана в 1843 г. интересует не расцвет, а падение Болгарского царства, и упоминание о Симеоне играет роль своеобразного контрастного фона. Вместе с тем самый образ его, оставаясь за пределами повести, приобретает в ней важную сюжетную роль, а эпизоды и легенды, связанные с его именем, составляют значительную часть ее исторической канвы.

Все эти мотивы и темы были далеко не случайны для Вельтмана. Литератор и историк с ясно выраженными славянофильскими симпатиями, он пишет повесть о символическом историческом прецеденте — совершившейся тысячу лет назад встрече двух родственных народов, — и он напоминает о ней в тот момент, когда оба эти народа готовы вступить в новую фазу взаимоотношений. Детальное рассмотрение повести покажет нам, что идея славянского родства последовательно выдерживается на всем протяжении рассказа и даже подчиняет себе реальный исторический материал.

---

<sup>1</sup> ГБЛ, ф. 47. I. 31. 5.

<sup>2</sup> Палаузов С. Н. Век болгарского царя Симеона. СПб., 1852 (см. об этом: Ровнякова Л. И. С. Н. Палаузов — деятель болгарского Просвещения // Рус. лит.-ра. 1972. № 2. С. 167—176).

## Повесть Вельтмана о художнике

### 1. «Райна, королева болгарская»

Содержание «Райны, королевы болгарской», появившейся впервые в 1843 г. в июльской книжке «Библиотеки для чтения», в общих чертах сводится к следующему.

После внезапной смерти царя Симеона, случившейся при таинственных обстоятельствах, престол занял сын его Петр. При нем начались феодальные смуты. Ближайший советник Петра, Георгий Сурсувул, армянин по национальности, облеченный высоким титулом комиса, является душой тайных политических интриг; он ищет царской власти для своего сына, комитопула Самуила, и намеренно провоцирует столкновение с Византией, рассчитывая с помощью императора получить престол. С династическими целями он стремится породниться с царем, женив Самуила на дочери Петра Райне, в которую комитопул страстно влюблен. Получив отказ, он вынашивает замыслы мести.

Тем временем византийский император призывает на помощь против болгар русского князя Святослава, и тот, являсь с дружиной, начинает опустошение страны. В самом начале похода Петр умирает; волей обманутого народа Георгию Сурсувулу вручается царская власть. Райне передают посмертную волю отца: выйти за Самуила. День свадьбы назначен; Райна, казалось, покоряется судьбе, но с амвона обвиняет комиса и его сына в убийстве своего отца. Среди всеобщего замешательства предстает видение: Петр на троне и рядом с ним Райна. Самуила поражает суеверный ужас; Райну замертво выносят из толпы.

Спасителем Райны оказывается дядя ее Воян, сын Симеона от первой жены, отвергнутый отцом и много лет скрывавшийся под видом отшельника. Он изучал искусство магии и пользовался славой волшебника, однако волшебство его заключалось в необыкновенном даре ваяния. Во время начавшихся смут он пытался предупредить Петра о предательской игре Сурсувула и являлся на площади безвестным старцем, предсказывавшим народу беды от узурпаторов. Ему принадлежала изваянная из воска группа, изображающая Райну и Петра, которая внушила страх Самуилу, — и он же с небольшой группой сторонников похищает Райну и укрывает ее в окрестных пещерах.

В это время войско Святослава вступает в болгарскую столицу; Святослав видит изваяние и восхищен красотой Райны; он требует возвращения королевы, грозя в противном случае разорить царство ее отца. Здесь к нему является Воян в виде чернеца и произносит пламенную речь о бедах Болгарии. Святослав тронут; он обещает утвердить на престоле законную династию и положить конец смутам и неустойчивости. Разговор убедил Вояна, что русский князь не «насилник и женолюбец» и что судьбы Болгарии зависят теперь от него и от Райны. Он решает сблизить их, поселив в обоих любовь. Вдохновленный этой мыслью, он создает восковой лик «добросанного князя», полный красоты и величия. Замысел удался: образ пре-

красного витязя поражает воображение девушки. Брат Райны, Борис, бывший в заложниках в Царьграде, возвращен на болгарский престол; во время праздника происходит встреча Райны и Святослава.

События, казалось, движутся к благополучному концу, однако в Киеве умирает мать Святослава, великая княгиня Ольга, и Святослав вынужден на время покинуть Болгарию, в которой решил было обосноваться навсегда. Придя как враг, он стал «поборником» родственной страны; здесь он «мирен духом», и любовь к Райне сулит ему счастье. Вступление на византийский престол Иоанна Цимисхия разрушает эту идиллию; новый император, сам армянин по происхождению, вступает в сношения с комитопулом Самуилом, и в Болгарии вспыхивает мятеж. Борис свергнут, Райну захватывают в плен. Возвратившийся Святослав вынужден теперь бросить свою дружину против огромного греческого войска, — он требует не золота и добычи, а прекращения смут и восстановления Бориса на болгарском престоле. Сеча следует за сечей; сам же Святослав вместе с Вояном в дерзком ночном набеге освобождает Райну из укрепленных теремов лесной кулы. Греки предлагают мир, и Святослав теперь должен вернуться на родину; с ним вместе уезжают Воян и Райна. В Белобережье русскую дружину настигают печенеги, нанятые комитопулом Самуилом; они требуют Райну. Борьба с несметным войском безнадежна, но выдать Райну Святослав отказывается. Она решается принести себя в жертву, спасая Святослава, а тем самым своих братьев и родину. В полночь она выходит на кровлю теремной башни под стрелы печенежских лучников; пораженная стрелой, она остается неподвижной; ветер колеблет ее белое покрывало. В замке хватились Райны; Святослав, боясь, что она сама отдалась в руки печенегов, предпринимает отчаянную вылазку; в разгар битвы он замечает неподвижную белую фигуру на башне и, забыв о врагах, погибает под их ударами. Умирает и Воян, положив голову на колени племянницы. Печенеги занимают Белобережье, названное ими «Кизикерменом» — «Крепостью Девы».

Со смертью Святослава оканчивается «самобытное существование Болгарии», подпадающей под власть Цимисхия; Борис развенчан; несколько лет правит Самуил, отложившийся от Греции; но это последняя вспышка самостоятельности; «с 1019 года Болгарией правили уже наместники василевсов греческих».

Такова эта повесть. Она отнюдь не принадлежит к лучшим писательским достижениям Вельтмана; над ней тяготят сюжетные схемы исторического романа из времен средневековья, принятые, видимо, с оглядкой на традицию В. Скотта и его подражателей: мы находим здесь реликтовые мотивы «таинственного» и «сверхъестественного», тут же объясняемые; сюжетные перипетии «похищений», характерную топографию — крепости в лесу, подземелья, служащие убежищем воину-отшельнику. Психология действующих лиц чрезвычайно обеднена: действуют «злодеи» и «герои», и их функция в повести полностью определяет их характер и поведение. Центральная сюжетная линия — любовь Святослава и Райны — по своей обрисовке восходит даже к доромантическим образцам. Тем не менее именно «Рай-



не» предстояло сыграть значительную роль в болгарской литературе 1860-х годов; в 1852 г. появляются одновременно два ее перевода (Е. Мутевой и Й. Груева); в 1866 г. Д. Войников пишет на ее основе драму и ставит на сцене; увлечение ею испытывает в 1860-е годы Л. Каравелов<sup>1</sup>. В бумагах Вельтмана сохранилось письмо Н. Х. Павловича из Одессы от 8 мая 1861 г., где корреспондент благодарит писателя за добрые чувства к болгарскому народу, выраженные в его романе, и сообщает о написанных им исторических картинах на темы «Райны»<sup>2</sup>. Пробуждение интереса к Болгарии, несомненно, было одной из главных задач Вельтмана; эта открыто идеологическая установка, сказавшаяся в цитированной нами выше концовке повести, наложила свою печать и на ее художественную структуру. Отсюда идет и откровенная идеализация походов Святослава. «Молва о его великодушии пронеслась по всей Болгарии. Никто не смел противиться грозе меча его; но и никто не жаловался на насилия и грабежи» (85). Между тем Вельтману, конечно, были хорошо известны результаты войны Святослава в Северной Болгарии — разрушения и жестокости, наводившие страх на население; по словам Льва Диакона, в 970 г. киевский князь приказал посадить на кол 20 тысяч человек<sup>3</sup>. Вельтман идет дальше Карамзина, которого, как мы помним, еще Липранди упрекал в идеализации Святослава. Но Вельтману нужен не исторический киевский князь, а символ объединения родственных народов, — и акцент ложится как раз на тот мотив, который занимал воображение писателя в годы работы над «Светославичем», — мотив растущей привязанности к завоеванной стране. Это летописное известие вместе с известием о холодности Святослава к жене-киевлянке является историко-психологической мотивировкой для появления фигуры Райны — полностью вымышленной.

Концепция Святослава имела у Вельтмана, однако, и более глубокие корни. «Рыцарский» этический кодекс, которым он наделяет своего героя, согласно историческим воззрениям Вельтмана, сложился веками. Историческая генеалогия Святослава уходит в полумифические представления «Эдды» — к «владельческому роду Форн-Иотаров, то есть древних великанов (Reus)», — как объяснял Вельтман ранее происхождение другого своего рыцаря-славянина — Ратибора Холмоградского<sup>4</sup>, — и даже далее, вплоть до древнеиндийского мифа. В допечатной редакции повести читаем: «Святослав был последний представитель быта древней славянской Руси, или *раджи*, как индейцы, родичи славянского племени, называют рыцарство, или благородное сословие посвятивших себя божеству войны *Сканде*, или *Светава*су, *Индре белоконому*. Святослав был скандинав, но юмальского или гималайского племени, которое у норманнов называлось *Рызар* или

<sup>1</sup> Арнаудов М. Любен Каравелов. Живот, дело, эпоха. 1834—1879. София, 1964. С. 717—718.

<sup>2</sup> ГБЛ. Вельт. II. 4. 46, л. 1.

<sup>3</sup> Златарски В. Н. История на българската държава през средните векове. Т. I. Ч. 2. София, 1971. С. 554—573.

<sup>4</sup> Ратибор Холмоградский. Соч. А. Вельтмана. М., 1841. С. 222.

Форнйотар, то есть древнейшее вельможное племя, порода царственная»<sup>1</sup>. От «раджанов», значит, в основном тексте, шел и свято соблюдаемый Святославом воинский закон рыцарской чести: не носить «бесчестного» оружия — палки с клинком, «зубчатых стрел, стрел, налитых ядом, и стрел огнеметных». «Раджаны не нападали ни на спящего, ни на безоружного, ни на удрученного скорбью, ни на раненого, ни на труса, ни на беглеца» (30).

Итак, отношения Святослава к наследникам Симеона возникают на почве исконного родства, уходящего в доисторическое и мифологическое прошлое индийских предков славянства, — родства «царственных пород». «Породнение» с болгарской царевной в этом смысле есть своего рода акт воссоединения. Именно это родство обеспечивает Святославу и Вояну взаимное понимание, когда речь между ними заходит о прошлом могуществе болгарской земли; «голос крови» связывает собеседников. В одном из планов повести Вельтман специально отмечает: «Баян — сын Симеона от первой жены, славянки». Все это типично славянофильский комплекс идей, отразившийся, между прочим, и в болгарской этнографии, — напомним «индоевропейские» увлечения Г. С. Раковского<sup>2</sup>.

Если Петр, Воян, Святослав, Райна составляют круг «положительных» героев повести, то противостоит им иной, столь же монолитный. Он включает Георгия Сурсувула, греков и Самуила. Заметим, что все это не славяне. Исторический Самуил был по происхождению армянин; соответственно армянином является и Георгий Сурсувул, согласно Вельтману, отец Самуила. В тексте повести мы не раз находим указания на союз их с единомышленниками — византийскими армянами; стало быть, и здесь действует «голос крови», объединяющий людей по этническому родству. Этот мотив вообще характерен для славянофильского национализма; однако абсолютизировать его было бы ошибочно: оснований к тому не дает ни творчество Вельтмана в целом, ни рассматриваемая повесть, хотя в ней он, как тенденция, сказался сильнее, нежели в других произведениях писателя. В «Райне» сыном армянки, второй жены Симеона, оказывается Петр; тем самым армянская кровь течет и в жилах героини повести Райны, которая к тому же наполовину гречанка: Вельтман делает ее дочерью Петра от брака с греческой царевной.

Национальный мотив является, таким образом, вторичным при характеристике лагеря «врагов»; они объединены не по национальному, а по социальному признаку. Это феодалы, сеятели смут, узурпаторы. Воплощение феодального честолюбия и феодальных распрей — Георгий Сурсувул, готовый навлечь беды на родину ради собственных выгод. Это романтический злодей.

Позднейшие историки совершенно иначе расценивали роль Сурсувула — твердого и энергичного регента при мягком и слабовольном Петре<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> ГБЛ. Вельт. I. 31. 5, л. 9.

<sup>2</sup> Азадовский М. К. История русской фольклористики. <Ч. 1>. М., 1958. С. 406—407; Ягич И. В. История славянской филологии. СПб., 1910. С. 629—630.

<sup>3</sup> Златарски В. История на българската държава... С. 495—497 и сл.

Современники Вельтмана — Липранди, Палаузов — также отнюдь не подозревали его в раскольнических замыслах<sup>1</sup>. Исключением был Венелин; именно он выдвинул гипотезу об «интригах Юрья Сурсувула», который якобы имел намерение сохранить в руках власть «дяди короля» и вступил для этого в тайные сношения с Византией и в дворцовые распри<sup>2</sup>. Была ли эта близость версий результатом общения Вельтмана с Венелиным (книга Венелина вышла посмертно лишь в 1849 г.) или возникла независимо, по аналогии с многочисленными подобными же фактами западной и русской истории, — сказать сейчас трудно.

Эта гипотеза, вполне произвольная, цементировала, однако, художественное целое. Георгий Сурсувул, брат жены Симеона, по праву королевского зятя занимает место у подножия престола и добивается удаления законного наследника — Вояна. По его плану убит и сам Симеон, а затем царь Петр; обманутый народ избирает его на царство, но он отказывается: он готовит трон для своего сына Самуила.

Во всех этих эпизодах история составляет лишь внешнюю канву, и отклонения от нее намеренны. Нужно сказать, однако, что в тексте повести Вельтман избегает прямо противоречить известным в его время историческим фактам; он заполняет художественной фантазией исторические лакуны. Конечно, Георгий Сурсувул ни прямо, ни косвенно не был причиной смерти Симеона и Петра, но та и другая произошла скоропостижно и неожиданно для современников и давала возможность вышить художественные узоры на исторической канве. Вопрос о происхождении Самуила, занимавшего болгарский престол в 997—1014 гг., не окончательно разрешен и в наши дни; в 1840-е годы он был вовсе не ясен. Известно, однако, что Самуил возглавлял восстание четырех комитопулов (сыновей комиса), начавшееся в 969 г., уже после смерти Петра, и носившее антивизантийский характер<sup>3</sup>. Вельтман смещает хронологию и устанавливает произвольные связи. Название «комис» обозначало разные высшие военные должности; Вельтман применяет его к Сурсувулу, чтобы связать его с восстанием комитопулов. Теперь короля Самуила легко превратить в сына Георгия Сурсувула — и он делает это, давая таким образом художественную и психологическую мотивировку политическим интригам последнего; он вводит в этот круг вымышленную Райну и заставляет Самуила искать ее руки. Все эти погрешности против истины нужны писателю для того, чтобы центральная идея повести, связанная с именами Святослава, Райны и Вояна, получила видимость исторического обоснования.

И столь же произвольно, хотя и целенаправленно, Вельтман создает художественный и национальный колорит своей повести.

<sup>1</sup> Липранди. Л. 27 об. и сл.; Палаузов С. Н. Век болгарского царя Симеона. С. 54.

<sup>2</sup> Венелин Ю. И. Критические исследования об истории болгар. М., 1849. С. 262—263.

<sup>3</sup> О восстании комитопулов см.: Златарски В. Н. История на българската държава... С. 563 и сл.; ср. также: Adontz N. Samuel l'Arménien, roi des Bulgares. Bruxelles, 1938 (Académie royale de Belgique. Classe des lettres, etc. Mémoires. Collection in -8 °. T. XXXIX. Fasc. 1).

Рассматривая художественное воплощение болгарских впечатлений, например, у Теплякова, мы уже имели случай заметить, что в них нет никаких попыток найти специфический *couleur locale* вновь открываемой страны. Причиной этого были и индивидуальные особенности Теплякова — поэта и историка, и слишком незначительный багаж сведений по истории и этнографии Болгарии, которым располагала русская литература в конце 1820-х годов. Иное дело Вельтман, писавший в 1843 г., с уже определившимся славяноведческим направлением интересов. Стилизация была особенностью его художественной манеры. Его исторические романы каждый раз получают свой стилистический ключ, — иногда даже несколько; в прихотливом сказе контрастируют или накладываются друг на друга то иронический «Ich-Erzählung» современного автора-повествователя, то народная сказка или легенда, то эпическая песня. В «Райне» нет этих контрастов, но на «нейтральном», «вальтер-скоттовском» повествовательном фоне время от времени возникают стилизованные фрагменты. Обычно это речевые характеристики персонажей. Они отсылают читателя к определенным литературным образцам, которые в совокупности и позволяют нам почувствовать, каким образом Вельтман создавал национальный болгарский колорит X в.

Прежде всего, конечно, это летопись. Прямые цитаты, со ссылкой на летопись, есть в описании Святослава в третьей главе; мы находим и парафразы летописных формул, равно как и общих мест былинных и сказочных текстов: «Идет князь — большой за меньшего не прячется; на суде — умный дураком не ограждается, виноватый на правого вина не складывает» (34), Вельтман обратился также к «Слову о полку Игореве»: «Днепр лелеет насады Святослава... на каждом насаде по сорока пеших воинов; красные щиты стеной у борта... Там, где Днепр пробил каменные горы Половецкие, начинались кочевья ордынские» (52—53). Все это было совершенно естественно при изображении древней Руси; несколько иначе создается стилистический колорит болгарских эпизодов. Здесь Вельтман избегает имитации «древней» речи, лишь изредка вставляя в текст болгарские и сербские слова. Зато он обращается к тексту Библии. «Лобзай его лобзанием сердца, как меня, брата твоего», — говорит Борис Райне, указывая на Святослава (89). Это формулы «Песни песней». Но, вероятно, наиболее показательным примером является речь Вояна перед Святославом; на развалинах Болгарского царства в виду грозного завоевателя Воян произносит речь — парафразу плача Иеремии. Вельтман сам назвал свой источник, которому следовал почти буквально:

#### «Райна, королева болгарская»

За что возложил ты на нее руку гнева своего, напряг лук свой и поставил ее знаменем на стрелание? За что насытил горестию и напоил желчью? (72)

#### «Плач Иеремии»

Напряже лук свой и постави мя яко знамение на стрелание (III, 12); насыти мя горести, напои мя желчи (III, 15)

Оскудели очи ее в слезах, смутилось сердце, изливается душа, да не на лоно матери! (72)

Потемнело наше золото, изменилось серебро наше доброе, рассыпались камни святыни, достояние наше обратилось к чуждым, домы к иноплеменникам; отпала красота с ланит дев; как овны без пажити, идем мы пред лицом гонящих нас! (73)

Оскудеша очи мои в слезах, смутится сердце мое, излился на землю слава моя (II, 11); егда изливахуся души их в лоно матерей их (II, 12)

Како потемне злато, изменился серебро доброе; рассыпашася камыцы святыни (IV, 1); достояние наше обратиться к чуждым и домы наша к иноплеменником (V, 2—3); и отъся от дщере Сиони вся лепота ея; быша князи ея яко овни не имущии пажити, и хождяху не с крепостью пред лицом гонящего (I, 6)

Нет никаких сомнений в том, что в выборе источника для своих стилизации Вельтман опирался и на соображения филологического порядка. Он ориентировался на язык Кирилла и Мефодия и славянских законоучителей времени Симеона. Однако было бы странно, если бы он не попытался расширить круг литературных и языковых ассоциаций, пользуясь тем фольклорным материалом, который уже имелся в его распоряжении. Действительно, уже в первые главы повести он вводит имитацию плача по царю Петру, со строками-лейтмотивами: «Ой, горе, горе, великая тужба!», «Ой, враны-гавраны поднялися с гнезд...» Эти двуязычные тавтологические сочетания (скорее русско-сербские, нежели русско-болгарские), метафорические обозначения («орел», «ворон»), постоянные эпитеты («белое тело») были для него стилизацией условно-фольклорной стихии в целом. Самый же плач он не стилизует, а почти без изменений переносит из Краледворской рукописи:

Ой, подскочил к нему льстивый враг,  
Поразил в широкие перси тяжкий млат!  
Зашумел-застонал жалобой темный лес;  
Ой, вышиб он ему душу-душеньку,  
Вылетела она чрез гортань, вылетала,  
Из гортани красными устами отходяла!  
Ой, хлынула волной его теплая кровь;  
За подружкой-душкой струею течет!

Это почти точный перевод «Оленя», по-видимому, первый стихотворный перевод песни на русский язык<sup>1</sup>.

По-видимому, не случайно Вельтман останавливает свой выбор на таком типе эпического описания, который в наибольшей мере напоминает

<sup>1</sup> Ср. более поздний перевод этой песни Н. Бергом (Краледворская рукопись. Собрание древних чешских эпических и лирических песен. Пер. Н. Берг. М., 1846. С. 52—53).

гомеровский эпос. Параллели между сербскими юнацкими песнями и «Илиадой» стали в это время общим местом в фольклористике, и не без оснований; современные исследователи также неоднократно обращали внимание на сходство — как раз в изображении гибели героев<sup>1</sup>. Об этом писал и Венелин; расширяя эту параллель, он находил «гомеризм» и в болгарских песнях<sup>2</sup>. Для Вельтмана здесь лежит один из признаков фольклорного стиля, в том числе и общеславянского, — и ему нужен пример такого стиля в наиболее «чистом» его виде. Он не мог в 1843 г. сомневаться в подлинности Краледворской рукописи, но он знал, конечно, что имеет дело не с болгарским и не с близким сербским, а с чешским фольклором. Но национальные грани стирались в его художественном сознании. Он создавал некую общую модель «славянского героического эпоса».

Вельтман поступал со своими литературными источниками так же, как с историческими: свободно контаминируя материал во имя общей социальной и художественной идеи. Материал этот был разнороден, и ему не удавалось добиться художественного единства. Быть может, ярче всего это сказалось на том образе «Райны», который явился наиболее существенным достижением писателя и который первоначально должен был стать в повести центральным. К этому образу — Вояна — мы и переходим. Он должен быть рассмотрен вместе с творческой эволюцией замысла.

## 2. Воян

В бумагах Вельтмана сохранились два плана будущей повести.

Один из них, без заглавия, подробно излагает содержание первых сцен, имеющих некоторые важные отличия от печатного текста. Второй план охватывает содержание повести целиком и также отклоняется от известной нам печатной редакции. Датировать эти планы точно мы не можем; существенно, однако, что они принадлежат к ранней стадии (или стадиям) формирования замысла. Второй план, озаглавленный «Содержание повести "Баян"», содержит историческую экспозицию, Vorgeschichte повествования, набросанную на отдельном листе:

### Содержание повести «Баян»

У Симеона, болгар<ского> короля, были от первой жены дети: Михаил и Боян. Михаил пострижен; а Боян был волшебник, мог человека в волка и в другого зверя превращ<ать>. От второго брака, от сестры Георгия Сурсузула, были Петр, Иоанн и Михаил.

Покуда Симеон был в живых, все окрест<ные> народы боялись его как сильного борца и грозного короля; но когда умер — на Болгар<ию> восстали турки (венгры), сербы, хорваты (раазы) и греки.

<sup>1</sup> См., например: *Ђурић В.* Српскохрватска народна епика. Сарајево, 1955. С. 134.

<sup>2</sup> *Венелин Ю.* О характере народных песен у славян задунайских. М., 1835. С. 82; *Арнаутов М.* Априлов. С. 378—379.

Петр начал войну с греками, но кончил миром и союзом с дочерью Христофора Кесаря (Роксана)<sup>1</sup> Марией (в крещении) Ирина).

Братья Петра из зависти начали ковы строить. Они брата Иоанна посад<или> в темницу, а сообщников убили; греческ<ий> (см. Раича, кн. II, с. 490) царь Лакапен способ<ствовал> убежать ему из темницы и увез в Конс<тантинополь>, где женил на армянке.

Михаил также восстал на брата, но с своими единомышленниками принужд<ен> был бежать в Грецию, коей и передался (но вскоре умер).

По смерти Ирины, жены Петра, мир с грек<ами> продолжался: два сына Петра Борис и Роман были в залоге у имп<ератора> Никифора.

НВ. После Лакапена возвед<ен> на визант<ийский> прест<ол> Никифор Фока в 963 году. В 4-е лето царств<ования> в июне он требовал от Петра, чтоб он войско турков (венг<ров>) не пропускал чрез Дунай, но он не обратил на это внимания; почему Фока послал Калокира, сына херс<онского> князя, назнач<енного> патрикием, к Святославу, вызывать на войну с Булг<арией>.

Когда Русь пришла в Болг<арию>, Петр умер, правили два сына Петра, Борис и Роман; они взяты были в плен.

В это время Фока умер, восш<ел> на прес<тол> греч<еский> Иоанн Цимисхий; Калокир обещал Святославу утверд<ить> за ним Болгарию, если он согласится способст<вовать> ему занять престол гречес<кий>.

Певец Баян оплакивает падение родины:

Тяжко тебе, голове, кроме плечю,  
Зло тебе телу, кроме головы!

Действу<ют?>.

Баян — сын Симеона от первой жены, славянки.  
Мать Баяна.

Эта экспозиция почти целиком соответствует историческим данным<sup>2</sup>, за одним существенным исключением, которое вместе с тем является и неким зерном замысла. Исключение касается сыновей Симеона. О них сообщали византийские хронисты, затем Дюканж и Раич, трудами которых пользовались и Вельтман, и Липранди. От первого брака Симеон имел только одного сына — Михаила; от второго — с сестрой вельможи Георгия Сурсулула — троих: Петра, Ивана и Вениамина, известного также под народным именем Бояна. Дюканж, а за ним Раич и Липранди говорили о двух Михаилах — от первого и второго брака; младшего Михаила, по их мнению,

<sup>1</sup> Сверху вписано: внуки.

<sup>2</sup> О событиях 927—930 гг., о которых идет речь в плане, см.: Златарски В. История на българската държава... Гл. V.

хронисты называли Вениамином<sup>1</sup>. Эта версия отразилась в плане, где также названы два Михаила. В печатном тексте Вельтман от нее отказался, а впоследствии в примечании к переводу «Слова о полку Игореве» изложил ее, отметив вопросительным знаком как сомнительную<sup>2</sup>. Дело, однако, было здесь не только — и даже не в первую очередь — в историческом критицизме. Уже из названия плана совершенно очевидно, что Боян мыслился в качестве героя повести. Его первородство — важный элемент замысла: он законный наследник престола. Пункт плана: «Баян — сын Симеона от первой жены, славянки» намечает второй существеннейший мотив, о котором нам пришлось уже говорить выше.

Теперь нам необходимо обратиться к другому плану, где есть содержание первой главы. Оно намечено уже и в нашем плане: «Певец Баян оплакивает падение родины» и «Мать Баяна»:

### Содержание

#### Глава 1

Король Петр, сын Симеона Болгарск<ого>, умирает; его сыновья Борис и Роман в залоге в Констант<инополе>. Народ собирается в граде Великой Преславе на площади близ храма Св. Димитрия рядить, кого избирать на царство. Партии: войско за Георгия Сурсулула, извест<ного> под именем комиса болгарс<кого> или комитопула, брата жены Петра, который, занимая должность конюшего при короле <1 нрзб.> и дядьки детей Симеона, имел право в случае неимения наследников на престол. Другая партия малочислен<ных> любимцев Петра — за детей Петра, находящ<ихся> в залоге<sup>3</sup>. Начинается раздор. Боян, певец народный, уговаривает народ звать наследников Петра; но народ, обольщенный Георгием, не соглашается по нелюбви к Петру и не хотя зависеть от греков. Является на площадь старая женщина, монахиня, она требует слова<sup>4</sup> и, обращаясь к Бояну: «Боян, Боян, полно петь! ты сын Симеона». Она<sup>5</sup> рассказывает народу причину ненависти к ней Симеона и открывает, что Боян его сын законный. Народ готов провозгласить Бояна; но он отрекается. «Отец отрекся от меня, — говорит он, — не возьму наследия, вот наследие мое (показ<ывает> гусли), певцу ли быть царем?»

Народ избирает Георгия-комиса.

<sup>1</sup> *Historia Byzantina duplici commentario illustrata... auctore Carolo du Fresne Domino du Cange... Lutetiae Parisiorum... 1680. P. 313; История разных славянских народов наипаче болгар, хорватов и сербов, из тмы забвения изытая и во свет исторический произведенная Иоанном Раичем, архимандритом во Свято Архагельском монастыре Ковиле. Ч. I. В Виенне, 1794. С. 389 (далее — Раич); Липранди. Л. 19 об. — 20.*

<sup>2</sup> Слово об ополчении Игоря Святославича, князя Новгород-Северского, на половцев, в 1185 году. Изд. 2-е. А. Ф. Вельтмана. М., 1860. С. VI.

<sup>3</sup> Далее зачеркнуто: Третья

<sup>4</sup> Далее зачеркнуто: а. узнает в Бояне своего сына б. и обращаясь к народу

<sup>5</sup> Далее зачеркнуто: дает клятву



«Сын Симеона от первой жены, славянки», Боян первоначального замысла является как носитель национально-патриотической идеи. «Боян — Сурсувул» — это целая система контрастных противопоставлений. Боян — славянин, Сурсувул — чужой. Боян — законный наследник престола, отрекшийся от него; Сурсувул — честолюбец, мечтающий о власти. Боян хочет национальной независимости Болгарии, Сурсувул — ее подчинения Византии. Боян действует силой поэтического убеждения, Сурсувул — путями интриги и обмана.

Роль Бояна в сюжете отчасти проясняется второй половиной рассматриваемого нами плана, которую приводим целиком:

### Глава 2

Между тем греческий император призывает Святослава на помощь против болгар. Святослав собирается в поход, покоряет Булгарию. Торжество. Является Боян. Поет и смиряет нрав Святослава; поет ему про деву святую. Святослав спрашивает: где она? Он говорит, что<sup>1</sup> только христианин может ее видеть.

Святослав получает известие о нашествии печенегов на Киев. Он забыва<sup>ет</sup> все и торопится из Булгарии, предоставляя правление Борису, но под военным начальством <1 нрзб.>, к чему уговорил его Боян. В Киеве тоскует о неизвестной деве и вскоре возвращается в Булгарию.

### Глава 3

Военные действия против греков. Святослав призывает Бояна.

Вторая и третья главы «Содержания» довершают абрис первоначальной фигуры Бояна. Перед нами певец, гуслир царственного рода, с судьбой, полной внутреннего драматизма: сын первой, нелюбимой жены царя, согласно Вельтману сосланной или добровольно ушедшей в монастырь (историкам судьба ее неизвестна) он знает свои права на престол, но добровольно отказывается от них. Истинное призвание и наследие певца — его искусство. Его Боян ставит на службу вере. Когда Святослав покоряет Булгарию, он обращает его, силою песнопений, к образу святой девы. По-видимому, Райна (если она присутствовала в этом замысле) должна была стать в глазах Святослава чем-то вроде земного воплощения богоматери, орудием христианизации языческого героя.

Так, определяется славянофильская концепция вельтмановской повести. «Чистая кровь родства» близких народов, «чувства любви к божеству, к родной земле и к своему ближнему» — все то, что Вельтман считал неременной принадлежностью первобытного славянского патриархализма, получает художественную реализацию в образах Бояна, Святослава и в их взаимоотношениях.

Боян первоначального плана, конечно, нес на себе черты певца из «Слова о полку Игореве». Такая параллель напрашивалась сама собой: 30 апреля

<sup>1</sup> Далее было начато: она хри<стианка>

1830 г., накануне отъезда в Болгарию, Венелин писал Шевыреву: «...еду... в страну классическую для Руси... в Болгарию, отечество Баяна, славянского Оссиана»<sup>1</sup>. У Вельтмана первые импульсы к отождествлению двух Баянов возникли еще в 1833 г., когда он издавал «Слово» и остановился перед «темным местом»: «Рекъ Боянъ и ходы на Святославля пѣснотворца старого времени Ярославля Ольгова коганя хоти: тяжко ти головы, кромѣ плечю; зло ти тѣлу, кроме головы: Русской земли без Игоря». Затруднившись в толковании «ходы на» и не определив двойственного числа<sup>2</sup>, Вельтман пытался выйти из положения путем рискованных конъектур. «Расстановка слов, — писал он, — кажется, должна быть следующая: Боянъ песнь творцю старого времени (так же, как и выше: *соловию старого времени*) Ярославля Ольгова, Коганя, рекъ *хоти* и *ходы* на Святославля; т. е. рек желания свои и обращения к Святославу». Далее он сделал примечание, для нас особенно интересное: «Слова Бояна совершенно изображают горестную мысль о удалении Святослава в Болгарию; а слова певца Игоря прекрасное сравнение обстоятельств»<sup>3</sup>.

Когда Боян, сын Симеона, выдвинулся в качестве героя повествования, Вельтман воспользовался своей старой гипотезой — не прямо, а ассоциативно: в уста своему гусяру, певцу Бояну, он вложил слова: «Тяжко тебе, голове, кроме плечю, Зло тебе, телу, кроме головы!» — слова, как он считал, обозначающие тему «болгарских походов Святослава». Далее по пути сближения двух Боянов он не пошел. Это сделал Венелин, который прямо попытался доказать их тождество и даже характеризовал болгарского Бояна по тексту русского памятника<sup>4</sup>. Гипотеза держалась и позднее — с разными вариациями — как в русской, так и в болгарской историографии<sup>5</sup>.

Между тем за год до выхода «Райны» Вельтман пришел к особой точке зрения на Бояна, делавшей невозможной такую ассоциацию. Имя «Боян» в соответствии с этим новым пониманием явилось в «Слове» вследствие порчи текста; певец «Слова» — «бо Ян», Ян Вышатич, упоминаемый в летописях<sup>6</sup>. Во втором издании своего перевода «Слова» Вельтман сохра-

<sup>1</sup> Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. III. СПб., 1890. С. 133.

<sup>2</sup> Это место текста испорчено и до сих пор не поддается удовлетворительному толкованию. В последних изданиях принята конъектура И. Е. Забелина: «Боянъ и Ходына»; в «Ходыне» предполагают имя собственное. Новейшую интерпретацию см.: Шарыпкин Д. М. «Рек Боян и Ходына...» К вопросу о поэзии скальдов и «Слове о полку Игореве» // Скандинавский сб. XVIII. Таллин, 1973. С. 195—200.

<sup>3</sup> Песнь ополчению Игоря Святославича, князя Новгород-Северского. Переведено с древнего русского языка XII столетия Александром Вельтманом. М., 1833. С. 50.

<sup>4</sup> Венелин Ю. И. Критические исследования по истории болгар. С. 263—365.

<sup>5</sup> См. историю этого вопроса в статье Ив. Дуйчева «Проучвания върху българското средновековие. II. Боян Магесник. Към въпроса за лъжливите науки у нас и в Византия през средновековието» (Сборник на Българската Академия на науките. Кн. 41. София, 1949. С. 8—19).

<sup>6</sup> Вельтман А. Упоминаемый «бо Ян» в «Слове о полку Игореве» есть старец Ян, упоминаемый Нестором // Москвитянин. 1842. № 1. С. 213—215.

нил это предположение и сделал любопытное примечание, бросающее отчасти свет и на источники «Райны»: «Некоторые ссылаются на Бояна, сына Симеона, крала Болгарского. По Качичу, у Симеона было три сына: Стефан, Вукош (Вук) и Сава. Ковачич (так!) в «Песнословке» называет Вукоша Волканом. Раич в своей Ист<ории> славян называет, по Дюфрену, сыновей Симеона Петром, Иоанном и Михаилом (?) и прибавляет, что у него был четвертый сын *Воян*, который чародействовал и претворял человека в волка. Но этот Боян и есть тот же *вук* (волк), ибо это имя изменяется в Вујо, Вуян, Вукач, Вукаш и Волкан»<sup>1</sup>.

В данном случае Вельтман ошибся; по-видимому, у него не было под руками сборника Качича. Из сыновей Симеона Болгарского Качич говорит об одном Петре; Степана, Вукшу и Сабу (Саву) он называет как сыновей словинского короля Симеона<sup>2</sup>. Слова Раича изложены точнее, хотя несколько изменено написание имени (у Раича — Ваян)<sup>3</sup>.

Нам важна, однако, не эта ошибка, а изменение художественного смысла образа. Боян и Воян разошлись. Теперь нам следует обратить внимание на одну деталь, которая в свете сказанного представляется существенной. «Содержание», в котором идет речь о певце-христианине, называет его Бояном. В первом листе другого плана, где записано «Содержание повести "Баян"» и изложена историческая экспозиция, где «певец Баян», сын Симеона от жены-славянки, «оплакивает падение родины» цитатой из «Слова о полку Игореве», употреблено две формы: Боян и Баян. Вторая глава этого плана, как и все последующие, записана на особом листе, и речь здесь идет только о Вояне. Этот Воян не певец, и роль его в повести совершенно иная. Мы должны говорить о двух стадиях замысла; к первой относится «Содержание» и первый лист «Содержания повести "Баян"»; ко второй — все остальное. К рассмотрению второй стадии мы и переходим.

Отказавшись от певца Баяна, Вельтман сделал исходной точкой развития образа легенду, рассказанную Лиутпрандом.

Лиутпранд, кремонский епископ, талантливый историк, посетивший Византию в 949 г. с дипломатической миссией, рассказал, что Боян (Вениамин), сын Симеона от первой жены, занимался колдовством и мог превращать человека в волка или любого зверя по выбору. Дюканж удержал этот рассказ; Раич повторил его; Липранди пересказал Раича и даже сохранил его комментарий: «суеверие, достойное тех времен»<sup>4</sup>. Это-то «суеверие» оказывается важным для Вельтмана, — оно составляет зерно концепции. Воян не певец, а чародей, действующий не на дух, а на тело; он превращает человека в волка и заключает («по Качичу») понятие «волк» в своем собственном имени. Он обладатель атрибутов оборотничества, закрепленных в былине о Волхе и фигуре князя Всеслава в «Слове о полку Игореве». Не лиш-

<sup>1</sup> Слово об ополчении Игоря Святославича... С. VI.

<sup>2</sup> O. Andrije Kačića Miošića Razgovor ugodni naroda slovinskoga... U Zagrebu, 1862. S. 61, 103—104.

<sup>3</sup> Раич. С. 399.

<sup>4</sup> Historia Byzantina... P. 313; Раич. Ч. I. С. 389; Липранди. Л. 19 об. — 20.

ним будет напомнить, что сказку о Волхе-оборотне Вельтман включил в «Кошечья бессмертного»<sup>1</sup>, а позднее цитировал во втором издании «Слова» «древнюю песню о Волхе Всеславьевиче» — правда, вне связи со Всеславом. Фигура же последнего интересовала его особо; об этом князе, рожденном, по словам летописи, от волхвованья, он приводил в соответствующем месте свод летописных свидетельств<sup>2</sup>.

В новом облике Бояна — Вояна стали проступать черты древнего языческого мифа<sup>3</sup>.

Соответственно меняются акценты и семантическая нагрузка. Воян — художник, ваятель (не исключена возможность, что Вельтман этимологизировал имя). Искусство его не божественное, а языческое, дьявольское. Его цель не утвердить, а уничтожить христианство, и он намерен сделать своим орудием Святослава. В этом плане впервые появляется фигура Райны — героической защитницы христианства, обращающей Святослава силою небесной и земной любви, и в первый раз возникает мотив изваянного портрета.

Приведем этот план:

Глава 2. Сбор народа в Переяславле и раздоры за выбор короля. Партия за Бориса и Романа, сыновей Петра, наход<ящихся> в Конс<тантинополе>, и партия комитопуловых детей. За комитопулов войско. Воян-гуслияр смущает народ предск<азанием> бед.

Глава 3. Комитопул вступает на престол, требует от Райны ее руку, она не соглашается; хочет употр<ебить> насилие; является Воян и уводит ее в пещеру к себе.

Глава 4. Посольство греч<еского> импе<ратора> к Святославу. Он идет в Булгарию — война — Свят<ослав> в Переяславце.

Глава 5. Пещера Вояна. Жизнь Райны в ней. История Вояна. Воян лепит из воску образ Райны и наряжает в ее одежду, язычники в его распоряжении, посредством их он ведет интриги. Во дворе переяславском живет один из его приверженцев, Ракош; чрез него вносят во дворец образ Райны; он уверяет Ракоша, что это лик богини и что Святослав влюбится в нее и примет сторону болгар и уничтож<ит> хрис<тианскую> религию.

Глава 6. Святослав побеждает комитопулов — берет их в плен. Борис и Роман прибыли в Переяславль, готовится торжество коронавания. Святославу является Воян. Соблазняет его ликом Райны; усло-

<sup>1</sup> Вельтман А. Кошечья бессмертный, былина старого времени. Ч. II. М., 1833. С. 89—171; см. особо с. 154 и сл., где Волх превращается в змея.

<sup>2</sup> Слово об ополчении Игоря Святославича... С. 69 и сл.

<sup>3</sup> См. об этом мифе: Jakobson R. (with Szeftel M.). The Vseslav Epos // Jakobson R. Selected Writings. Vol. IV. [S. 1.], 1966. P. 300—368; а также: Путилов Б. Н. Русский и южнославянский героический эпос. Сравнительно-типологическое исследование. М., 1971. С. 70—78.

вия, на которых он ее получит. В это время известие от Ольги о нашествии печенегов. Святослав, забывая любовь, оставляет часть войска в Перея<славле>, едет в Русь, остановив торжество коронования Бориса до возвращения своего.

NB. Воян ведет Святос<лава> в пещеру и показывает лик Райны, а Райне Святослава. Райна влюбляется. Воян говорит ей, что она получит руку его, что будет царицей Греции, если отречется от Христа. Она отрекается.

Глава 7. Святослав возвращается, война с греками. Боян ведет Святослава в пещеру; там показывает он ему Райну; Райна видит Святослава.

Глава 8. Воян уговаривает Райну, чтоб она отеклась от Христа, тогда корона Греции и Святос<лав> будут принадлежать ей; она отречается.

Святослав тайно ходит около пещеры и встречает Райну, бежавшую от Вояна. Разговор с ней. Она спрашивает его, христианин ли он, и узнав, что нет, отталкивает его от себя. Святослав дает слово быть христианином. Она умоляет его не вести войны против ее братьев. Он посылает посла к Цимисхию и уезжает с ней в Русь.

Глава 9. Воян восстанавливает печенегов на него <?.>. Смерть Свят<ослава> и Райны.

В этом плане присутствуют почти все основные сюжетные мотивы повести, но как бы с обратным знаком. Зловещий, дьявольский образ соблазнителя Вояна определяет их функцию. Отравление Райны от посягательств комитопула мнимо; оно лишь пролог к целой цепи несчастий. Великое произведение искусства служит преступной цели, и любовь, им вызванная, несет с собой гибель. Этот резкий поворот сюжета предопределил и расстановку действующих лиц. Райна выдвигается на передний план повествования; собственно говоря, только она и Воян действуют в повести как равные друг другу противники. Святославу отводится роль совершенно пассивная; он ведет себя как идеальный любовник сентиментальной повести. Художественная концепция вновь оказывалась чревата непреодолимыми противоречиями.

Вместе с тем на этом этапе движения замысла осложнился и углубился характер Вояна, который интересовал Вельтмана едва ли не более остальных. Рассказ Лиутпранда о чернокнижнике, владеющем искусством превращения людей в животных, вызвал к жизни целую цепь ассоциаций, уже присутствовавших в творческом сознании Вельтмана.

Дело в том, что еще в 1837 г. он напечатал в «Московском наблюдателе» повесть «Иоланда» из эпохи французского средневековья; в ней шла речь о тулузском церопластике (ваятель из воска) Гюи Бертроне, сделавшем по заказу неизвестного восковую фигуру по портрету женщины. Художник не знал, что изобразил «с разительным сходством» молодую девушку знатного рода Санцию, невесту рыцаря Раймонда; не знал он и того, что сделала заказ его сбежавшая дочь Иоланда, соблазненная и оставленная Раймон-

дом; ему было неизвестно, наконец, что восковой портрет послужит предметом «демонских волхвований» Иоланды, которая велит его отпеть как умирающую, а затем проколет кинжалом. По законам симильной магии, известной с первобытных времен, все это должно было вызвать смерть Санции. На деле последовала цепь трагических случайностей: Иоланду обвиняют в убийстве с помощью колдовства и сжигают; невольный виновник трагедии Гюи Бертран умирает от разрыва сердца, узнав в портрете казненной свою дочь. Весь сюжет мотивирован одним обстоятельством: великий мастер добился иллюзии такой силы, что восковую фигуру принимают за труп. К этой небольшой и изящной повести Вельтман сделал обширное примечание о древних и средневековых суевериях, касающихся имитативной магии и связанных с искусством церопластики<sup>1</sup>.

Эти-то сюжетные мотивы и прикрепляются к фигуре Война в рассматриваемом плане повести, показывая нам, каким образом рассказ Лиутпранда превратился в повесть о художнике. Первоначальная кристаллизация образа произошла, и теперь к основному сюжетному ядру начинают стягиваться другие мотивы, также связанные с симильной магией и церопластикой.

Прежде всего Вельтман обращается к известной в болгарской истории легенде о смерти Симеона. Эта легенда, рассказанная несколькими византийскими хронистами (Псевдо-Симеоном Магистром, продолжателем Феофана, Кедрином и Зонарой), была известна и Липранди, и Вельтману. Липранди знал ее, по-видимому, по изложению Раича и Мавро Орбини. «В то же время (927 г., — В. В.), — читаем у последнего, — пришел один человек донести царю, что болван, поставленный на воротах Ксерофила, превратился во образ Симеона Болгарянина, которому ежели бы де отрублена была голова, то почует скоро реченного Симеона смерть, еже и бысть учинено. И не много по том нападоша на Болгара болезни безмерные от стомаха, от которых положен бысть во гроб»<sup>2</sup>. Раич усомнился в этой «повести», похожей «на баснь... и суеверие», и даже предупредил своих читателей, что прислушиваться к ней «не христианско есть дело»; Липранди перевел его комментарий на язык современных понятий: «Повесть, достойная во многих отношениях *Мавро-Урбина*, который, впрочем, и не показывает источников оной».

Круг сведений Вельтмана ко времени создания «Райны», по-видимому, был больше, и, обрабатывая легенду, он пользовался целым рядом источников, как исторических, так и литературных. В византийских хрониках он мог почерпнуть и другие рассказы, касающиеся симильной магии. Псевдо-Симеон Магистр и продолжатель Феофана сохранили очень близкую легенду из времен императора Феофила (829—842). Желая оградить Византию от нашествия иноплеменных завоевателей, руководимых тремя вож-

<sup>1</sup> Московский наблюдатель. 1837, июнь. Кн. 2. С. 397—448.

<sup>2</sup> Книга историграфия початия имене, славы и расширения народа славянского... Собрана из многих книг исторических, чрез господина Мавроурбина, архимандрита Рагужского. [СПб., 1722]. С. 307. Ср.: Раич. Ч. I. Кн. 2. С. 398—399, 400; Липранди. Л. 19 об.

дями, император обратился к помощи патриарха Иоанна, владевшего искусством магии. Тот отправился ночью на ипподром, где стояла бронзовая статуя о трех головах; их он путем заклятий мистически отождествил с головами неприятельских военачальников. После этого он велел бить палицами по головам статуи; две были снесены прочь, третья погнулась. Через несколько дней во вражеском стане началась распря, в которой были обезглавлены двое из вождей; третий, раненый, остался жив. Войска их возвратились на родину<sup>1</sup>.

Некоторые реалии вельтмановской обработки заставляют думать, что он свободно контаминировал несколько подобных рассказов. «Статуя, поставленная у ворот Ксерофила», у него получила точное определение — это статуя Беллерофонта, поражающего химеру. Голова Беллерофонта приобретает черты Симеона; уродливый человечек, изваянный в той же скульптурной группе, оживает, чтобы исполнить древнее пророчество: спасти город от могущественного врага. Здесь слышатся отзвуки иных преданий о магических статуях, оберегающих Византию. Одно из них мы можем указать точно: это рассказ Никиты Акомината (Хониата) об издавна стоявшем на Тавре изваянии всадника, о котором говорили, что это Беллерофонт на Пегасе. Когда крестоносцы захватили Константинополь, они отбили молотком левое переднее копыто коня и нашли «статую человека, похожего более на какого-нибудь болгарина, чем на латинянина»; статуя эта, уничтоженная крестоносцами, была талисманом, ограждающим город от нападения<sup>2</sup>. История Никиты Акомината уже была известна русской историографии: ею пользовался и Полевой для своих «Византийских легенд»<sup>3</sup>.

Образ церопластика Вояна связывал воедино все эти рассказы — от рассказа Лиутпранда до легенд о смерти Симеона. Подобно Бертрану, Воян лепит из воска голову своего кровного родича, чтобы на свое несчастье обречь его в жертву мнимому колдовству. Сам он оказывается игрушкой в руках низких и коварных убийц, которые ночью спиливают мраморную голову Беллерофонта и заменяют ее восковой головой болгарского царя. Волшебство, изумляющее суеверный народ, — отсечение головы Симеона от статуи и ее исчезновение в огне костра — есть результат заранее подготовленного спектакля; безобразный человечек, якобы отделившийся от скульптурной группы, — переодетый заговорщик; гибель Симеона не действие чар, а заранее подготовленное предательское убийство. Сказочник и

<sup>1</sup> *Dijue Iv. Appunti di storia bizantino-bulgara. 1. La leggenda bizantina della morte del re bulgaro Simeone // Dijue Iv. Medioevo bizantino-slavo. Vol. I. Roma, 1965. P. 207—212.*

<sup>2</sup> *Nicetae Chroniatae Historia. Ex recensione Immanuelis Bekkeri. Bonnae, 1835. P. 849, 857—858 (Corpus scriptorum historiae Byzantinae...); русский перевод: Византийские историки, переведенные с греческого при С.-Петербургской духовной академии. Никиты Хониата история со времени царствования Иоанна Комнина. Т. 2 (1186—1206). Под редакцией проф. И. В. Чельцова. СПб., 1862. С. 420—421, 430—431.*

<sup>3</sup> *Козмин Н. К. Очерки из истории русского романтизма. Н. А. Полевой как выразитель литературных направлений современной ему эпохи. СПб., 1903. С. 141.*

фантаст, Вельтман решительно избегает мистики; он мог бы повторить вслед за Раичем и Липранди формулу недоверия к «баснословию» византийских и латинских хронистов.

Сюжетная схема повести на этот раз сложилась окончательно, и это было связано с третьим и последним этапом эволюции центрального героя. Пустынный-мудрец, адепт христианской веры — демонический соблазнитель — художник, воин и патриот, искупающий свой тяжкий грех, — путь Вояна из «Райны, королевны болгарской».

Все мотивы, намеченные первоначально, остались — но в новой, преобразованной функции. Наследник престола, отвергнутый отцом, питает в душе месть, поддерживаемую матерью; он погрязает в грехе чернокнижия и в пучинах византийского разврата. Здесь-то он и профанирует свое искусство, становясь невольной причиной смерти отца; фатальное преступление, сделавшееся для него трагической виной, открывает ему глаза. Отныне он кающийся грешник. Собственно говоря, здесь почти тот же рисунок образа, что и в художнике гоголевского «Портрета»: необыкновенный дар, которым он обладает, может в зависимости от применения стать орудием дьявола или божества. Первое вызвало к жизни портрет Петромихали; второе — божественный образ. Голова Симеона — память о первом, греховном этапе пути художника, отмеченном корыстолюбием и жадной мести; это искусство несет смерть. Изваяния Святослава и Райны внушены чистыми патриотическими помыслами и бескорыстным желанием блага двум родственным по крови и духу существам; это искусство несет любовь. Тень трагической жертвенности все время лежит на этом новом Вояне, в котором как бы совместились черты, полученные от первого и второго своего предшественника: от отрешенного от земных помыслов христианского певца и демона, погруженного в языческую, земную стихию. Отшельник, он покидает свое уединение, чтобы вырвать «сродницу» из рук злодеев; отвергая мирскую суету, он, подобно «второму Вояну», «плетет интриги», но уже не во имя язычества; он устраивает всенародный спектакль, обманывающий суеверов изваянными фигурами Райны и короля Петра на престоле; чуждаясь властителей, он печется о престолонаследии; отвращаясь от плотской любви, он вдохновляет и готовит союз Святослава и Райны. Дряхлой рукой он берет меч и участвует в воинском набеге, освобождая Райну из вторичного плена силой хитрости и оружия. Воплощением патриотической идеи становится художник, аскет и воин.

Этот образ и стал высшим художественным достижением вельтмановской повести, и, как мы пытались показать, совершенно закономерно. Он прошел длительный путь художественной эволюции, в то время как остальные персонажи оставались лишь бледной иллюстрацией исторической и социальной идеи. В то же время он имеет для нашей темы и более общее значение.

Знакомство русской культуры с Болгарией накануне болгарского Возрождения неизбежно должно было пройти несколько этапов развития. Один из них — первоначальное собирание материалов о стране, которая предста-



ла русским изыскателям и литераторам как почти вовсе новая, — с превращенной исторической традицией, с не пробужденными еще силами, дремлющими в талантливом, но подавленном вековым угнетением народе. Таково было первое впечатление и Венелина, и Теплякова. Деятельность Липранди и заключалась, собственно, в накапливании и первоначальной систематизации исторических, этнографических, экономических фактов; «прагматическая» история Болгарии также принадлежала этим фазам первичного ознакомления. «О болгарской литературе нечего и говорить, ибо она еще не возродилось», — писал Венелин в 1829 г.<sup>1</sup>; болгарский фольклор открывал, однако, возможность проникновения в духовную сокровищницу народа, — и фольклористические интересы мы обнаруживаем и у Венелина, и у Вельтмана, и у Липранди. В «Райне, королевне болгарской» мы видим уже первую, пусть несовершенную, попытку художественного познания, — активного освоения и преломления накопленных знаний, — попытку, исторически тем более существенную, что она вызвала «обратную связь» в виде переводов и подражаний и способствовала развитию художественного самосознания в болгарской литературной среде. Образ Бояна — Вояна, ставший затем столь популярным в болгарской историографии, как бы концентрировал в себе предшествующие попытки научного и художественного освоения болгарской истории: художественные мотивы возникают здесь на фундаменте исторического изучения и не теряют своей эстетической природы, синтезируясь в едином и достаточно многообразном и сложном психологическом рисунке. Но повесть Вельтмана не открывала новых путей в русской литературе; она полностью принадлежала позднему, уже угасающему романтизму, — вместе с научными изысканиями ее автора. Историческое и художественное сознание развивались быстро, и уже вторая треть века меняла характер культурных связей: она вызывала к жизни новые интеллектуальные силы, порождаемые не только русской, но и болгарской средой.

---

<sup>1</sup> Венелин Ю. Древние и нынешние болгаре. М., 1829. С. 16.

В. Э. ВАЦУРО

ИЗБРАННЫЕ  
ТРУДЫ



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
МОСКВА 2004